

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



Серия основана издательством  
ЭКСМО в 2002 году

ИВАН ГОНЧАРОВ

Обломов

Москва  2022

УДК 82-3  
ББК 84(2Рос-Рус)6-4  
Г65

Вступительная статья *А. Дружинина*

В оформлении суперобложки использованы работы художников *К. Штейбена, А. С. Степанова, Г. Софоки*

**Гончаров И.А.**

Г65      **Обломов: роман / И. А. Гончаров ; [вст. ст. А. Дружинина].** — М. : Эксмо, 2022. — 608 с. — (Библиотека Всемирной Литературы).

ISBN 978-5-699-18825-3

Роман И.А.Гончарова «Обломов» — одно из самых глубоких исследований русского характера. «Обломовщиной» называют национальную русскую черту, когда хотят указать на леность, созерцательность и боязнь перемен русского человека. Но Гончаров открывает нам гораздо больше в душе Обломова: нежелание участвовать в общей деятельности «на поприще прогресса» генетически близко к неприятию суетного образа жизни, где нет возможности остановиться и спросить, «а зачем все это?»; созерцательность и робость, неспособность устроить личное счастье берут начало в душе чистой и нерасчетливой, пугающейся страсти и не умеющей скрыть свой испуг. «Обломов» — поэма о нежной душе, и пусть не все тайны русского характера открылись в ней, пусть только одна черточка, но и это не мало.

УДК 82-3

ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-699-18825-3

© Оформление.  
ООО «Издательство «Эксмо», 2022

*Содержание*

*А. В. Дружинин*

«ОБЛОМОВ»

*Роман И. А. Гончарова*

7

ОБЛОМОВ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

29

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

203

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

363

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

467



«ОБЛОМОВ».  
РОМАН И. А. ГОНЧАРОВА.  
ДВА ТОМА. СПБ., 1859\*

...В настоящие года вся читающая Россия при всех своих деловых стремлениях жаждет истинных созданий искусства, как нива в жаркий день жаждет живой влаги. Как нива, она поглощает в себя каждую росинку, каждую каплю освежительного дождя, как бы ни непродолжителен был этот дождик. Общество смутно, очень смутно понимает, что внутренний мир человека, тот мир, на который действуют все истинные поэты и художники, есть основа всего в здешнем свете и что до той поры, пока наш собственный внутренний мир не будет смягчен и озарен просвещением, все наши стремления вперед будут не движением прогресса, а страдальческими движениями больного, без толку ворочающегося в своей постели. Таким-то образом масса русских мыслящих людей инстинктивно угадывает ту истину, которой Гете и Шиллер так благотворно и так усердно служили в период своей дружбы и совокупной деятельности: «Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus!»<sup>1</sup> Извольте ж после этого говорить, что «в наше время движения изящная литература должна стоять на втором плане»!

---

\* Эта статья выдающегося русского писателя и литературного критика Александра Васильевича Дружинина (1824–1864) впервые появилась в журнале «Библиотека для чтения» (1859, № 12). Печатается в сокращении по изданию: *А.В. Дружинин. Прекрасное и вечное.* — М. — «Современник». — 1988.

Лучшим опровержением сейчас приведенного и все еще недостаточно осмеянного парадокса служит настоящий 1859 год и литературные дела настоящего года. В начале его появилось в наших журналах несколько замечательных произведений, конечно, не шекспировских и даже не пушкинских, но произведений честных и поэтических. Во всей Европе, где никогда и никто не отодвигал на задний план созданий искусства, эти произведения имели бы почетный, спокойный успех, очень завидный, но не поразительный и не шумливый. У нас же, вследствие сейчас сказанного парадокса, им бы следовало тотчас же отойти на второй план и развлекать собой досуги барышень или праздного люда, но то ли вышло. Успех «Дворянского гнезда» оказался таким, какого мы за много лет не упомним. Небольшим романом г. Тургенева зачитывались до иступления, он проник повсюду и сделался таким популярным, что не читать «Дворянского гнезда» было непозволительным делом. Его ждали несколько месяцев и кинулись на него, как на давно ожидаемое сокровище. Но, положим, «Дворянское гнездо» появилось в январе месяце, месяце новостей, толков и так далее, роман вышел в свет во всей целости, при всех наиболее благоприятнейших условиях для его оценки. Но вот «Обломов» г. Гончарова. Трудно пересчитать все шансы, собранные против этого художественного создания. Оно печаталось помесечно, стало быть, перерывалось три или четыре раза. Первая часть, всегда так важная, особенно важная при печатании романа в раздробленном виде, была слабее всех остальных частей. В этой первой части автор согрешил тем, чего, по-видимому, никогда не прощает читатель, — бедностью действия; все прочли первую часть, заметили ее слабую сторону, а между тем продолжение романа, так богатое жизнью и так мастерски построенное, еще лежало в типографии! Люди, знавшие весь роман, восхищенные им до глубины души, в течение долгих дней трепетали за г. Гончарова; что же должен был перечувствовать сам автор,



пока решилась судьба книги, которую он более десяти лет носил в своем сердце. Но опасения были напрасны. Жажда света и поэзии взяла свое в молодом читающем мире. Наперекор всем препятствиям «Обломов» победоносно захватил собою все страсти, все внимание, все помыслы читателей. В каких-то пароксизмах наслаждения все грамотные люди прочли «Обломова». Толпы людей, как будто чего-то ждавших, шумно кинулись к «Обломову». Без всякого преувеличения можно сказать, что в настоящую минуту во всей России нет ни одного малейшего, безуездного, заштатнейшего города, где бы не читали «Обломова», не хвалили «Обломова», не спорили об «Обломове»...

...Постараемся же, по мере сил наших, разъяснить до некоторой степени причину необыкновенного успеха «Обломова». Труд наш не будет трудом очень тяжелым — роман так известен всякому, что анализировать его и знакомить читателя с его содержанием — дело совершенно бесполезное...

...В писателе, подарившем нашей словесности «Обыкновенную историю» и «Обломова», мы всегда видели и видим теперь одного из сильнейших современных русских художников — с таким суждением, без сомнения, согласится всякий человек, умеющий с толком читать по-русски. Об особенностях гончаровского дарования тоже больших споров быть не может. Автор «Обломова», вместе с другими первоклассными представителями родного искусства, — есть художник чистый и независимый, художник по призванию и по всей целости того, что им сделано. Он реалист, но его реализм постоянно согрет глубокой поэзией; по своей наблюдательности и манере творчества он достоин быть представителем самой натуральной школы, между тем как его литературное воспитание и влияние поэзии Пушкина, любимейшего из его учителей, навеки отдаляют от г. Гончарова самую возможность *бесплодной* и сухой натуральности. В нашей рецензии, о которой упоминалось выше, мы проводили подробную параллель между

талантом Гончарова и талантами первоклассных живописцев фламандской школы, параллель, как нам и теперь кажется, дает верный ключ к уразумению заслуг, достоинств и даже недостатков нашего автора. Подобно фламандцам, г. Гончаров национален, неотступен в раз принятой задаче и поэтичен в малейших подробностях создания. Подобно им, он крепко держится за окружающую его действительность, твердо веруя, что нет в мире предмета, который не мог бы быть возведен в поэтическое представление силой труда и дарования. Как художник-фламандец, г. Гончаров не путается в системах и не рвется в области ему чуждые. Как Доу, Ван дер-Нээр и Остад, он знает, что ему незачем ходить далеко за предметами творчества. Простой и даже как будто скупой на вымысел, подобно трем сейчас нами названным великим людям, г. Гончаров, подобно им, не выдает всей своей глубины поверхностному наблюдателю. Но, подобно им, он является глубже и глубже с каждым внимательным взглядом, подобно им, он ставит перед нашими глазами целую жизнь данной сферы, данной эпохи и данного общества — для того, чтоб, подобно им же, навсегда остаться в истории искусства и освещать ярким светом моменты действительности, им уловленной.

Несмотря на некоторые несовершенства выполнения, о которых мы будем говорить ниже, невзирая на видимое всем несогласие первой части романа со всеми последующими, лицо Ильи Ильича Обломова вместе с миром его окружающим как нельзя более подтверждает собой все нами сейчас сказанное о даровании г. Гончарова. Обломов и обломовщина: эти слова недаром облетели всю Россию и сделались словами, навсегда укоренившимися в нашей речи. Они разъяснили нам целый круг явлений современного нам общества, они поставили перед нами целый мир идей, образов и подробностей, еще недавно нами не вполне сознанных, являвшихся нам как будто в тумане. Силой своего труда человек с глубоким поэтическим дарованием сде-

лал для известного отдела нашей современной жизни то, что сделали родственные ему фламандцы со многими сторонами своей родной действительности. Обломова изучил и узнал целый народ, по преимуществу богатый обломовщиной, — и мало того, что узнал, но полюбил его всем сердцем, потому что невозможно узнать Обломова и не полюбить его глубоко. Напрасно и до сей поры многие нежные дамы смотрят на Илью Ильича как на существо достойное посмеяния, напрасно многие люди с чересчур практическими стремлениями усиливаются презирать Обломова и даже звать его улиткою: весь этот строгий суд над героем показывает одну поверхностную и быстропреходящую придирчивость. Обломов любезен всем нам и стоит беспредельной любви — это факт, и против него спорить невозможно. Сам его творец беспредельно предан Обломову, и в этом вся причина глубины его создания. Обвинить Обломова за его обломовские качества не значит ли то же, что сердиться на то, зачем добрые и пухлые лица фламандских бургомистров на фламандских картинах не украшены черными глазами неаполитанских рыбаков или римлян из Транстевере<sup>2?</sup> Метать громы на общество, рождающее Обломовых, по нашему мнению, то же самое, что сердиться за недостаток снеговых гор в картинах Рюйздаля. Разве мы не видим с разительной ясностью, что в этом деле вся сила поэта порождена его твердым, неуклонным отношением к действительности, помимо всех прикрас и сентиментальностей. Крепко держась за действительность и разрабатывая ее до глубины еще никем не изведанной, творец «Обломова» и добился до всего, что истинно, поэтично и вековечно в его создании. Скажем более, через свой фламандский, неотступный труд он дал нам ту любовь к своему герою, про которую мы говорили и говорить будем. Не спустись г. Гончаров так глубоко в недра обломовщины, та же обломовщина, в ее неполной разработке, могла бы нам показаться грустною, бедною, жалкою, достойною пустого смеха. Теперь над

обломовщиной можно смеяться, но смех этот полон чистой любви и честных слез — о ее жертвах можно жалеть, но такое сожаление будет поэтическим и светлым, ни для кого не унижительным, но для многих высоким и мудрым сожалением.

Новый роман г. Гончарова, как это известно всякому, кто прочел его в «Отечественных записках», распадается на два неровные отдела. Под первую часть его, если не ошибаемся, подписан 1849 год, под остальными тремя 1857 и 1858<sup>3</sup>. Итак, почти десять лет отделяют первоначальный, многотрудный и еще не вполне выискавшийся замысел от его зрелого осуществления. Между Обломовым, который безжалостно мучит своего Захара, и Обломовым, влюбленным в Ольгу, может, лежит целая пропасть, которой никто не в силах уничтожить. Насколько Илья Ильич, валяющийся на диване между Алексеевым и Тарантьевым, кажется нам заплеванным и почти гадким, настолько тот же Илья Ильич, сам разрушающий любовь избранной им женщины и плачущий над обломками своего счастья, глубок, трогателен и симпатичен в своем грустном комизме. Черты, лежащие между этими двумя героями, наш автор не был в силах сгладить. Все его старания в этой части пропали даром — как все художники по натуре, наш автор бессилен везде, где требуется *деланная работа*: то есть сглаживания, притягивания, объяснения, одним словом, то, что легко дается талантам обыкновенным. Поработав и тяжело поработав над невозможной задачей, г. Гончаров наконец убедился, что ему не сгладить черты, нами указанной, не загрузить пропасти, лежащей между двумя Обломовыми. На пропасти этой лежала одна *planche de salut*<sup>4</sup>, одна переходная доска: неподражаемый «Сон Обломова». Все усилия прибавить к ней что-нибудь оказались тщетными, пропасть оставалась прежней пропастью. Убедясь в этом, автор романа махнул рукой и подписал под первую часть романа все объясняющую цифру 1849 года. Этим он высказал свое положение и откровенно отдавал себя

как художника на суд публики. Успех «Обломова» был ему ответом — читатель прощал несовершенства частные за наслаждения, доставленные ему целым творением. Не будем же и мы чрезмерно взыскательными, а лучше воспользуемся распадением романа на две части, чтобы по обеим проследить любопытный процесс творчества, выданный нам по поводу самого Обломова и обломовщины, его окружающей.

Нет никакого сомнения в том, что первые отношения поэта к могущественному типу, завладевшему всеми его помыслами, были вначале далеко не дружественными отношениями. Не ласку и не любовь встретил Илья Ильич, еще не созрелый, еще не живой Илья Ильич, в душе своего художника. Время перед 1849 годом не было временем поэтической независимости и беспристрастия во взглядах; при всей самостоятельности г. Гончарова он все же был писателем и сыном своего времени. Обломов жил в нем, занимал его мысли, но еще являлся своему поэту в виде явления отрицательного, достойного казни и по временам почти ненавистного. Во всех первых главах романа, до самого «Сна», г. Гончаров откровенно выводит перед нами того героя, который ему сказывался прежде, того Илью Ильича, который представлялся ему как уродливое явление уродливой русской жизни. Этот Обломов *en bruto*<sup>5</sup> достаточно обработан, достаточно объективен для того, чтоб действовать на два или на три тома, достаточно верен для того, чтоб осветить собою многие темные стороны современного общества, но, боже мой, как далек от теперешнего, сердцу милого Обломова этот засаленный, нескладный кусок мяса, носящий тоже имя Обломова в первых главах романа! Каким эгоизмом безобразного холостяка пропитано это существо, как оно мучит всех его окружающих, как оскорбительно-равнодушно оно ко всему унижительному, как лениво-враждебно к тому, что только выходит из его узенькой сферы. Злая и противная сторона обломовщины исчерпана вся, но где же ее впоследствии про-

явившаяся поэзия, где ее комическая грация, где ее откровенное сознание своих слабостей, где ее примиряющая сторона, успокаивающая сердце и, так сказать, узаконяющая незаконное? В 1849 году при дидактических стремлениях словесности и при крайне стесненной возможности проявлять эти стремления Обломов ембюго мог бы восхитить собой читателя и ценителя. Какие громы метались бы на него критиками, какие сумрачные толки раздались бы о среде, рождающей Обломовых! Г. Гончаров мог бы явиться обличителем тяжких недугов общественных ко всеобщему удовольствию и даже к небольшой пользе людей, стремящихся полиберальничать, не подвергаясь большой опасности, и показать кукиш обществу в надежде на то, что кукиш этот именно не будет примечен теми, кто не любит показанных кукишей. Но подобного успеха нашему автору было бы слишком мало. Отталкивающий и не просветленный поэзией, Обломов не удовлетворял идеалу, столько времени им носимому в сердце. Голос поэзии говорил ему: иди дальше и ищи глубже.

«Сон Обломова!» — этот великолепнейший эпизод, который останется в нашей словесности на вечные времена, был первым могущественным шагом к уяснению Обломова с его обломовщиной. Романист, жаждущий разгадки вопросам, занесенным в его душу его же созданием, потребовал ответа на эти вопросы; за ответами обратился он к тому источнику, к которому ни один человек с истинным дарованием не обращается напрасно. Ему надобно было наконец узнать, из-за какой же причины Обломов владеет его помыслами, отчего ему мил Обломов, из-за чего он недоволен первоначальным, объективно верным, но неполным, не высказывающим его помыслов Обломовым. Конечного слова на свои колебания г. Гончаров стал выспрашивать у поэзии русской жизни, у своих воспоминаний детства и, разъясняя прошлую жизнь своего героя, со всей свободой погрузился в ту сферу, которая ее окружала. Следом за Пушкиным, своим учителем, по приме-

ру Гоголя, своего старшего товарища, он ласково отнесся к жизни действительной, и отнесся не напрасно. «Сон Обломова» не только осветил, уяснил и разумно опозитизировал все лицо героя, но еще тысячью невидимых скреп связал его с сердцем каждого русского читателя. В этом отношении «Сон», сам по себе разительный как отдельное художественное создание, еще более поражает своим значением во всем романе. Глубокий по чувству, его внушившему, светлый по смыслу, в нем заключенному, он в одно время и поясняет и просветляет собою то типическое лицо, в котором сосредоточивается интерес всего произведения. Обломов без своего «Сна» был бы созданием неоконченным, не родным всякому из нас, как теперь, — «Сон» его разъясняет все наши недоумения и, не давая нам ни одного голого толкования, повелевает нам понимать и любить Обломова. Нужно ли говорить о чудесах тонкой поэзии, о лучезарном свете правды, с помощью которых происходит это сближение между героем и его ценителями. Тут нет ничего лишнего, тут не найдете вы неясной черты или слова, сказанного попусту, все мелочи обстановки необходимы, все законны и прекрасны. Онисим Суслов, на крыльцо которого можно было попасть не иначе, как ухватясь одной рукой за траву, а другою за кровлю избы, — любезен нам и необходим в этом деле уяснения. Заспанный челядинец, дующий спросонья на квас, в котором сильно шевелятся утопающие мухи, и собака, признанная бешеною за то только, что бросилась бежать от людей, собравшихся на нее с вилами и топорами, и няня, засыпающая после жирного обеда с предчувствием, что Илюша пойдет затрагивать козла и лазить на галерею, и сотня других обворожительных, миерисовских подробностей<sup>6</sup> здесь необходимы, ибо содействуют целости и высокой поэзии главной задачи. Тут сродство г. Гончарова с фламандскими мастерами бьет в глаза, сказывается во всяком образе. Или для праздной потехи всякие художники, нами вспомянутые, громоздили на свое полотно

множество мелких деталей? Или по бедности воображения они тратили жар целого творческого часа над какой-нибудь травкою, луковицей, болотной кочкой, на которую падает луч заката, кружевным воротничком на камзоле тучного бургомистра? Если так, то отчего же они велики, почему они поэтичны, почему детали их созданий слиты с целостью впечатления, не могут быть оторваны от идеи картины? Как же произошло, что эти истинные художники, так зоркие на поэзию, до такой степени осветившие, опоэтизировавшие жизнь своего родного края, бросались в мелочи, сидели над подробностями? Видно, в названных нами мелочах и подробностях таилось нечто большее, чем о том думает иной близорукий составитель хитрых теорий. Видно, труд над деталями был необходим и важен для уловлении тех высших задач искусства, на которых все зиждется, от которых все питается и вырастает. Видно, творя малую частность, художник недаром отдавался ей всей душою своею, и, должно быть, творческий дух его отражался во всякой подробности мощного произведения, так, как солнце отражается в малой капле воды — по словам оды, которую мы учили наизусть еще ребятишками<sup>7</sup>.

Итак, «Сон Обломова» расширил, узаконил и уяснил собою многозначительный тип героя, но этого еще не было достаточно для полноты создания. Новым и последним, решительным шагом в процессе творчества было создание Ольги Ильинской — создание до того счастливое, что мы, не обинуясь, назовем первую мысль о нем краеугольным камнем всей обломовской драмы, самой счастливой мыслью во всей артистической деятельности нашего автора. Даже оставивши в стороне всю прелесть исполнения, всю художественность, с которою обработано лицо Ольги, мы не найдем достаточных слов, чтоб высказать все благотворное влияние этого персонажа на ход романа и развитие типа Обломова. Несколько лет тому назад, давая отчет о «Рудине» г. Тургенева<sup>8</sup>, мы имели случай заме-



тить, что типы вроде Рудина не поясняются любовью, — теперь приходится перевернуть нашу сентенцию и объявить, что Обломы выдают всю прелесть, всю слабость и весь грустный комизм своей натуры именно через любовь к женщине. Без Ольги Ильинской и без ее драмы с Обломовым не узнать бы нам Ильи Ильича так, как мы его теперь знаем, без Ольгина взгляда на героя мы до сих пор не глядели бы на него надлежащим образом. В сближении этих двух основных лиц произведения все в высшей степени естественно, каждая подробность удовлетворяет взыскательнейшим требованиям искусства — и между тем сколько психологической глубины и мудрости через него развивается перед нами! Как живет и наполняет все наши представления об Обломове эта юная, горделиво-смелая девушка, как сочувствуем мы стремлению всего ее существа к этому незлобивому чудаку, отделившемуся от окружающего его мира, как страдаем мы ее страданием, как надеемся мы ее надеждами, даже зная и хорошо зная их несбыточность. Г. Гончаров, как смелый знаток сердца человеческого, с первых сцен между Ольгой и ее первым избранником отдал большую долю интриги комическому элементу. Его бесподобная, насмешливая, бойкая Ольга с первых минут сближения видит все смешные особенности героя, не обманываясь нисколько, играет ими, почти наслаждается ими и обманывается только в своих расчетах на твердые основы характера Обломова. Все это поразительно верно и вместе с тем смело, потому что до сих пор никто еще из поэтов не останавливался на великом значении нежно-комической стороны в любовных делах, между тем как эта сторона всегда существовала, вечно существует и выказывает себя в большей части наших сердечных привязанностей. Много раз в течение последних месяцев нам случалось слышать и даже читать выражения недоумения о том, «как могла умная и зоркая Ольга полюбить человека, неспособного переменить квартиру и с наслаждением спящего после обеда», — и, сколько мы можем припом-

нить, все подобные выражения принадлежали лицам очень молодым, очень незнакомым с жизнью. Духовный антагонизм Ольги с обломовщиной, ее шутивное, затрогивающее отношение к слабостям избранника объясняется и фактами и существом дела. Факты сложились весьма естественно — девушка, по натуре своей не увлекающаяся мишурой и пустыми светскими юношами своего круга, заинтересована чудачком, о котором умный Штольц рассказал ей столько историй, любопытных и смешных, необыкновенных и забавных. Она сблизается с ним из любопытства, нравится ему от нечего делать, может быть, вследствие невинного кокетства, а затем останавливается в изумлении перед чудом, ею сделанным.

Мы уже сказали, что нежная, любящая натура Обломовых вся озаряется через любовь, — и может ли быть иначе с чистою, детски ласковой русской душою, от которой даже ее леность отгоняла растение с искушающими помыслами. Илья Ильич высказался вполне через любовь свою, и Ольга, зоркая девушка, не осталась слепа перед теми сокровищами, что перед ней открылись. Вот факты внешние, а от них лишь один шаг до самой существенной истины романа. Ольга поняла Обломова ближе, чем понял его Штольц, ближе, чем все лица, ему преданные. Она разглядела в нем и нежность врожденную, и чистоту нрава, и русскую незлобивость, и рыцарскую способность к преданности, и решительную неспособность на какое-нибудь нечистое дело, и наконец — чего забывать не должно — разглядела в нем человека оригинального, забавного, но чистого и несколько не презренного в своей оригинальности. Раз ставши на эту точку, художник дошел до такой занимательности действия, до такой прелести во всем ходе событий, что неудавшаяся, печально кончившаяся любовь Ольги и Обломова стала и навсегда останется одним из обворожительнейших эпизодов во всей русской литературе. Кто из стариков не зачитывался этих страниц, кто из восприимчивых юношей при чтении

их не чувствовал горячих слез на своих глазах? И какими простыми, часто какими комическими средствами достигнут такой небывалый результат! Какой страх, соединенный с улыбкою, возбуждают в нас эти бесконечно разнообразные проявления обломовщины в борьбе с истинной, деятельной жизнью сердца! Мы знаем, что время обновления упущено, что не Ольге дано поднять Обломова, а между тем при всякой коллизии в их драме сердце наше замирает от неизвестности. Чего мы не перечувствовали при всех перипетиях этой страсти, начиная хоть от той минуты, когда Илья Ильич, глядя на Ольгу так, как глядит на нее нянька Кузьминишна, важно толкует о том, что нехорошо и опасно видаться наедине, до его страшного, последнего свидания с девушкой и до ее последних слов: «Что стубило тебя, нет имени этому злу!» Чего только нет в этом промежутке, в этой борьбе света и тени, отдающей нам всего Обломова и сближающей его с нами так, что мы мучимся за него, когда он, охая и скучая, пробирается в оперу с Выборгской стороны, и озаряемся радостью в те минуты, когда в его обломовском, запыленном гнезде, при отчаянном лае скачущей на цепи собаки, вдруг является неожиданное видение доброго ангела. Перед сколькими частностями означенного эпизода добродушнейший смех овладевает нами, и овладевает затем, чтоб тотчас же смениться ожиданием, грустью, волнением, горьким соболезнованием к слабому! Вот к чему ведет нас ряд художественных деталей, начавшийся еще со сна Обломова. Вот где является истинный смех сквозь слезы — тот смех, который стал было нам ненавистен — так часто им прикрывались скандальные стихотворцы и биографы нетрезвых взяточников! Выражение, так безжалостно опозоренное бездарными писателями, вновь получило для нас свою силу: могущество истинной, живой поэзии снова воротило к нему наше сочувствие.

Создание Ольги так полно — и задача, ею выполненная в романе, выполнена так богато, что дальней-

шее пояснение типа Обломова через другие персонажи становится роскошью, иногда ненужною. Одним из представителей этой излишней роскоши является нам Штольц, которым, как кажется, недовольны многие из почитателей г. Гончарова. Для нас совершенно ясно, что это лицо было задумано и обдуманно прежде Ольги, что на его долю, в прежней идее автора, падал великий труд уяснения Обломова и обломовщины путем всем понятного противопоставления двух героев. Но Ольга взяла все дело в свои руки, к истинному счастью автора и к славе его произведения. Андрей Штольц исчез перед нею, как исчезает хороший, но обыкновенный муж перед своей блистательно одаренною супругою. Роль его стала незначительною, вовсе несоразмерною с трудом и обширностью подготовки, как роль актера, целый год готовившегося играть Гамлета и выступившего перед публикой в роли Лаэрта. Глядя на дело с этой точки зрения, мы готовы осудить слишком частое появление Штольца, очень же осуждать его как живое лицо мы неспособны точно так же, как осуждать Лаэрта за то, что он не Гамлет. Мы не видим в Штольце ровно ничего несимпатического, а в создании его ничего резко несовместного с законами искусства: это человек обыкновенный и не метящий в необыкновенные люди, лицо, вовсе не возводимое романистом в идеал нашего времени, персонаж, обрисованный с излишнею кропотливостью, которая все-таки не дает нам должной полноты впечатления. Весьма подробно и поэтично описывая нам детство Штольца, г. Гончаров так охлаждается к периоду его зрелости, что даже не сообщает нам, какими именно предприятиями занимается Штольц, и эта странная ошибка неприятно действует на читателя, с детства своего привыкшего глядеть неласково на всякого афериста, которого деловые занятия покрыты мраком неизвестности. Если б в Штольце предстояла великая надобность, если б только через него тип Обломова был способен к должному уяснению, мы не сомневаемся, что наш художник, при

своей силе и зоркости, не отступил бы перед раз заданной темой, но мы сказали уже, что создание Ольги далеко оттеснило Штольца и его значение в романе. Уяснение через резкую противоположность двух несходных мужских характеров стало ненужным: сухой неблагодарный контраст заменился драмой, полною любви, слез, смеха и жалости. За Штольцем осталось только некоторое участие в механическом ходе всей интриги, да еще его беспредельная любовь к особе Обломова, в какой, впрочем, у него много соперников.

И в самом деле, окиньте весь роман внимательным взглядом, и вы увидите, как много в нем лиц, преданных Илье Ильичу и даже обожающих его, этого кроткого голубя, по выражению Ольги. И Захар, и Анисья, и Штолец, и Ольга, и вялый Алексеев — все привлечены прелестью этой чистой и цельной природы, перед которою один только Тарантьев может стоять, не улыбаясь и не чувствуя на душе теплоты, не подшучивая над ней и не желая ее приглубить. Зато Тарантьев мерзавец, мазурик; ком грязи, скверный булыжник сидит у него в груди вместо сердца, и Тарантьева мы ненавидим, так что, явись он живой перед нами, мы бы почли за наслаждение побить его собственноручно. Зато холод проникает нас до костей и гроза поднимается в нашей душе в ту минуту, когда после описания беседы Обломова с Ольгой, после седьмого неба поэзии, мы узнаем, что в креслах Ильи Ильича сидит и ждет его прихода Тарантьев. К счастью, в свете немного Тарантьевых и в романе есть кому любить Обломова. Всякий почти из действующих лиц любит его по-своему, а эта любовь так проста, так необходимо вытекает из сущности дела, так чужда всякого расчета или авторской натяжки! Но ничье обожание (даже считая тут чувства Ольги в лучшую пору ее увлечения) не трогает нас так, как любовь Агафьи Матвеевны к Обломову, той самой Агафьи Матвеевны Пшеницыной, которая с первого своего появления показалась нам злым ангелом Ильи Ильича, — и увы! действительно сделалась

его злым ангелом. Агафья Матвеевна, тихая, преданная, всякую минуту готовая умереть за нашего друга, действительно загубила его вконец, навалила гробовой камень над всеми его стремлениями, ввергнула его в зияющую пучину на миг оставленной обломовщины, но этой женщине все будет прощено за то, что она много любила. Страницы, в которых является нам Агафья Матвеевна, с самой первой застенчивой своей беседы с Обломовым, верх совершенства в художественном отношении, но наш автор, заключая повесть, переступил все грани своей обычной художественности и дал нам такие строки, от которых сердце разрывается, слезы льются на книгу и душа зоркого читателя улетает в область такой поэзии, что до сих пор, из всех русских людей, быть творцом в этой области было дано одному Пушкину. Скорбь Агафьи Матвеевны о покойном Обломове, ее отношения к семейству и Андрюше, наконец, этот дивный анализ ее души и ее прошлой страсти — все это выше самой восторженной оценки...

...После всего нами сказанного и выписанного, может быть, иной скептический читатель спросит нас: «Да за что же, наконец, Обломов так любим лицами, его окружающими, — и еще более, за что именно он любезен читателю? Если для возбуждения выражений и дел преданности достаточно есть и валяться по диванам, не делать никакого зла и сознаваться в своей житейской неспособности, да сверх всего этого иметь несколько комических сторон в своем характере, то значительная масса рода человеческого имеет право на нашу возможную привязанность! Если Обломов действительно добр, как голубь, то почему же автор не выразил перед нами практических проявлений этой доброты, если герой честен и неспособен на зло, то почему же эти почтенные стороны его природы не выставлены перед нами осязательным образом? Обломовщина, как ни тяготей она над человеком, не может же вывести его из круга той вседневной, мелкой, насущной действительности, которой, как всякий знает, всегда достаточ-

но для выражения привлекательных сторон нашей природы. Отчего же все подобные выражения природы у Обломова исключительно пассивны и отрицательны? Отчего, наконец, он не совершает перед нами даже самого малого дела любви и кротости, хотя бы дела, которое может быть покончено без разлуки с халатом, — почему он не скажет приветного и задушевного слова хоть одному из второстепенных лиц, стоящих около него, хотя бы в награду за всю их преданность?» В таком замечании читателя отыскивается своя доля правды. Обломов, лучшее и сильнейшее создание нашего блистательного романиста, не принадлежит к числу типов, «к которым невозможно добавить ни одной лишней черты», — над этим типом невольно задумываешься, дополнений к нему невольно жаждешь, но дополнения эти сами приходят на мысль, и автор со своей стороны сделал почти все нужное для того, чтобы они приходили...

...Весьма легко нападать на Обломова с точки зрения людей практических, а между тем отчего бы иногда нам не взглянуть на недостатки современных практических мудрецов, так презрительно толкающих ребенка — Обломова. Лениво зевающее дитя в физиологическом отношении, конечно, слабее и негоднее чиновника средних лет, подписывающего бумагу за бумагою, но у чиновника средних лет, без сомнения, есть геморрой и, может быть, другие болезни, которых дитя не имеет. Так и заспанный Обломов, уроженец заспанной и все-таки поэтической Обломовки, свободен от нравственных болезней, какими страдает не один из практических людей, кидающих в него камнями. Он не имеет ничего общего с бесчисленной массой грешников нашего времени, самонадеянно берущихся за дела, к которым не имеют призвания. Он не заражен житейским развратом и на всякую вещь смотрит прямо, не считая нужным стесняться перед кем-нибудь или перед чем-нибудь в жизни. Он сам не способен ни к какой деятель-

ности, усилия Андрея и Ольги к пробуждению его апатии остались без успеха, но из этого еще далеко не следует, чтоб другие люди при других условиях не могли подвинуть Обломова на мысль и благое дело. Ребенок по натуре и по условиям своего развития, Илья Ильич во многом оставил за собой чистоту и простоту ребенка, качества драгоценные во взрослом человеке, качества, которые сами по себе, посреди величайшей практической запутанности, часто открывают нам область правды и временами ставят неопытного, мечтательно-го чудака и выше предрассудков своего века, и выше целой толпы дельцов, его окружающих.

Попробуем подтвердить слова наши. Обломов, как живое лицо, достаточно полон для того, чтоб мы могли судить о нем в разных положениях, даже не замеченных его автором. По практичности, по силе воли, по знанию жизни он далеко ниже своей Ольги и Штольца, людей хороших и современных; по инстинкту правды и теплоте своей природы он их несомненно выше. В последние годы его жизни супруги Штолец навестили Илью Ильича, Ольга осталась в карете, Андрей вошел в известный нам домик с цепной собакой у калитки. Выйдя от своего друга, он только сказал жене: *все кончено* или что-то в этом роде и уехал, и Ольга уехала, хотя, без сомнения, с горем и слезами. В чем же заключался смысл этого безнадежного, отчаянного приговора? Илья Ильич женился на Пшеницыной (и прижил с этой необразованной женщиной ребенка). И вот причина, по которой кровная связь расторгнута, обломовщина признана переступившей все пределы! Ни Ольгу, ни ее мужа мы за это не виним: они подчинились закону света и не без слез покинули друга. Но повернем медаль и на основании того, что дано нам по этому, спросим себя: так ли бы поступил Обломов, если б ему сказали, что Ольга сделала несчастную *mésalliance*<sup>9</sup>, что его Андрей женился на кухарке и что оба они, вследствие того, прячутся от людей, к ним близ-



ких. Тысячу раз и с полной уверенностью скажем, что не так. Ни идеи отторжения от дорогих людей из-за причин светских, ни идеи о том, что есть на свете *mé-salliances*, для Обломова не существует. Он бы не сказал слова вечной разлуки, и, ковыляя, пошел бы к добрым людям, и прилепился бы к ним, и привел бы к ним свою Агафью Матвеевну. И Андреева кухарка стала бы для него не чужою, и он дал бы новую пощечину Тарантьеву, если б тот стал издеваться над мужем Ольги. Отсталый и неповоротливый Илья Ильич в этом простом деле, конечно, поступил бы сообразнее с вечным законом любви и правды, нежели два человека из числа самых развитых в нашем обществе. И Штольц, и Ольга, без всякого сомнения, гуманны в своих идеях, без всякого сомнения, они знают силу добра и головами своими привязаны к участи меньших братьев, но стоило их другу связать свое существование с судьбой женщины из породы этих меньших братьев, и они оба, просвещенные люди, поспешили со слезами сказать: все кончено, все пропало — обломовщина, обломовщина!

Продолжим параллель нашу. Обломов умер, Андрияша его вместе с Обломовкой поступил под опеку Штольца и Ольги. Очень вероятно, что и Андрияше было у них хорошо, и обломовские мужики не терпели притеснений. Но Захар, оставшийся без призрения, лишь случайно был найден в числе нищих, но вдова Ильи Ильича не была приближена к друзьям ее мужа, но дети Агафьи Матвеевны, которых Обломов учил чистописанию и географии, дети, которых он не отделял от своего сына, остались на произвол своей матери, слишком привыкшей во всем отделять их от барчонка Андрияши. Ни житейский порядок, ни житейская правда этим нарушены не были, и супругов Штольц никакой закон не нашел бы виноватыми. Но Илья Ильич Обломов, смеем думать, иначе поступил бы с лицами и сиротами, которых присутствие когда-то услаждало собой

жизнь его Андрея и в особенности Ольги. Очень может быть, что он не сумел бы быть им полезным практически, но любви своей к ним не стал бы подразделять на разные степени. Без расчета и соображений он поделился бы с ними последним куском хлеба и, говоря метафорически, принял бы их всех равно под сень своего теплого халата. У кого сердце дальновиднее головы, тот может наделать множество глупостей, но в стремлениях своих все-таки останется горячее и либеральнее людей, запутанных сетями светской мудрости. Возьмем хоть поведение Штольца в ту пору, когда он жил где-то на Женевском озере, а Обломов чуть не повергнут был в нищету ковами друзей Тарантьева. Андрей Штолец, которому ничего не значило изъездить пол-Европы, человек со связями и деловой опытностью, не захотел даже найти в Петербурге дельца, который за приличное вознаграждение согласился бы принять надзор над положением Обломова. А между тем и он и Ольга не могли не знать участи, грозившей их другу. Со своим практическим *laissez faire*, *laissez passer*<sup>10</sup> они оба были вполне правы, и винить их никто не смеет. Кто в наше время осмеливается совать свой нос в дела самого близкого человека? Но предположите теперь, что до Ильи Ильича доходит слух о том, что Андрей и Ольга на краю нищеты, что они окружены врагами, грозящими их будущности. Трудно сказать, что бы совершил Обломов при этом известии, но кажется нам, что он не сказал бы самому себе: какое право имею я вмешиваться в дела лиц, когда-то мне дорогих и близких?

Может быть, догадки наши покажутся иному читателю не совсем основательными, но такова наша точка зрения, и в искренности ее никто не имеет права сомневаться. Не за комические стороны, не за жалостную жизнь, не за проявления общих всем нам слабостей любим мы Илью Ильича Обломова. Он дорог нам как человек своего края и своего времени, как незлоб-

ный и нежный ребенок, способный, при иных обстоятельствах жизни и ином развитии, на дела истинной любви и милосердия. Он дорог нам как самостоятельная и чистая натура, вполне независимая от той схоластико-моральной истасканности, что пятнает собою огромное большинство людей, его презирающих. Он дорог нам по истине, какую проникнуто все его создание, по тысяче корней, которыми поэт-художник связал его с нашей родной почвою. И наконец, он любезен нам как чудак, который в нашу эпоху себялюбия, ухищрений и неправды мирно покончил свой век, не обидевши ни одного человека, не обманувши ни одного человека и не научивши ни одного человека чему-нибудь скверному.

А.В. Дружинин

#### КОММЕНТАРИИ К ПРЕДИСЛОВИЮ

<sup>1</sup> «Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus!» — Лучше свободно развивайтесь людьми — это в ваших возможностях (нем.). Вторая строка из эпиграммы Шиллера и Гете «Немецкий национальный характер».

<sup>2</sup> *Транстевере* — часть Рима, находящаяся за Тибром.

<sup>3</sup> «Обломов» был полностью опубликован в 1859 г. в первых четырех номерах «Отечественных записок». «Сон Обломова» как «эпизод из неоконченного романа» был напечатан в «Литературном сборнике» в 1849 г. — эта дата и стояла под первой частью романа в «Отечественных записках». В 1857 г. в Мариенбаде роман был вчерне завершен, а в 1858 г. переработан.

<sup>4</sup> *Planche de salut* — букв.: доска спасения (фр.).

<sup>5</sup> *Embryo* — в зачаточном состоянии, в зародыше (англ.).

<sup>6</sup> *Миерисовские подробности* — то есть подробности, аналогичные тщательно выписанным деталям на полотнах голландца Ф. ван Миериса-старшего.

<sup>7</sup> Дружинин вспоминает строки из оды Державина «Бог»:

Ничто! — Но ты во мне сияешь  
Величеством твоих доброт;  
Во мне себя изображаешь,  
Как солнце в малой капле вод.

<sup>8</sup> О романе Тургенева «Рудин» Дружинин писал в последней части статьи «Повести и рассказы И. Тургенева. СПб., 1856».

<sup>9</sup> *Mésalliance* — мезальянс, неравный брак (*фр.*).

<sup>10</sup> *Laissez faire, laissez passer* — позволяйте делать, позволяйте идти (*фр.*). Подразумевается житейский принцип — не вмешиваться в чужие дела.

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



## I

В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов.

Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полутворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока.

Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки; но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением, не лица только, а всей души; а душа так открыто и ясно светила в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. И поверхностно наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы: «Добряк должен быть, простота!» Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в приятном раздумье, с улыбкой.

Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому, что Обломов

как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому цвету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины.

Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не лишенною своего рода грации ленью. Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга; но редко тревога эта застывала в форме определенной идеи, еще реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте.

Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу все шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, благоприобретенным, но все еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани.

Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств: он мягок, гибок; тело не чувствует его на себе; он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела.

Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и приволье. Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие; когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу.

Лежание у Ильи Ильича не было ни необходимою, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным



состоянием. Когда он был дома — а он был почти всегда дома, — он все лежал, и все постоянно в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетом и приемной. У него было еще три комнаты, но он редко туда заглядывал, утром разве, и то не всякий день, когда человек мел кабинет его, чего всякий день не делалось. В тех комнатах мебель закрыта была чехлами, шторы спущены.

Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранною. Там стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шелковой материею, красивые ширмы с вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами. Были там шелковые занавесы, ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых мелочей.

Но опытный глаз человека с чистым вкусом одним беглым взглядом на все, что тут было, прочел бы только желание кое-как соблюсти *decozum*<sup>1</sup> неизбежных приличий, лишь бы отделаться от них. Обломов хлопотал, конечно, только об этом, когда убирал свой кабинет. Утонченный вкус не удовольствовался бы этими тяжелыми, неграциозными стульями красного дерева, шаткими этажерками. Задок у одного дивана оселся вниз, наклеенное дерево местами отстало.

Точно тот же характер носили на себе и картины, и вазы, и мелочи.

Сам хозяин, однако, смотрел на убранство своего кабинета так холодно и рассеянно, как будто спрашивал глазами: «Кто сюда натащил и наставил все это?» От такого холодного воззрения Обломова на свою собственность, а может быть, и еще от более холодного воззрения на тот же предмет слуги его, Захара, вид кабинета, если осмотреть там все повнимательнее, поражал господствующею в нем запущенностью и небрежностью.

---

<sup>1</sup> видимость (*лат.*).

По стенам, около картин, лепилась в виде фестонов паутина, напитанная пылью; зеркала, вместо того чтоб отражать предметы, могли бы служить скорее скрижалями, для записывания на них, по пыли, каких-нибудь заметок на память. Ковры были в пятнах. На диване лежало забытое полотенце; на столе редкое утро не стояла не убранная от вчерашнего ужина тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой да не валялись хлебные крошки.

Если б не эта тарелка, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живет, — так все запылилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия. На этажерках, правда, лежали две-три развернутые книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница с перьями; но страницы, на которых развернуты были книги, покрылись пылью и пожелтели; видно, что их бросили давно; номер газеты был прошлогодний, а из чернильницы, если обмакнуть в нее перо, вырвалась бы разве только с жужжаньем испуганная муха.

Илья Ильич проснулся, против обыкновения, очень рано, часов в восемь. Он чем-то сильно озабочен. На лице у него попеременно выступал не то страх, не то тоска и досада. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба, а ум еще не являлся на помощь.

Дело в том, что Обломов накануне получил из деревни, от своего старосты, письмо неприятного содержания. Известно, о каких неприятностях может писать староста: неурожай, недоимки, уменьшение дохода и т. п. Хотя староста и в прошлом и в третьем году писал к своему барину точно такие же письма, но и это последнее письмо подействовало так же сильно, как всякий неприятный сюрприз.

Легко ли? Предстояло думать о средствах к принятию каких-нибудь мер. Впрочем, надо отдать справедливость заботливости Ильи Ильича о своих делах. Он по первому неприятному письму старосты, полученно-

му несколько лет назад, уже стал создавать в уме план разных перемен и улучшений в порядке управления своим имением.

По этому плану предполагалось ввести разные новые экономические, полицейские и другие меры. Но план был еще далеко не весь обдуман, а неприятные письма старосты ежегодно повторялись, побуждали его к деятельности и, следовательно, нарушали покой. Обломов сознавал необходимость до окончания плана предпринять что-нибудь решительное.

Он, как только проснулся, тотчас же вознамерился встать, умыться и, напившись чаю, подумать хорошенько, кое-что сообразить, записать и вообще заняться этим делом как следует.

С полчаса он все лежал, мучась этим намерением, но потом рассудил, что успеет еще сделать это и после чаю, а чай можно пить, по обыкновению, в постели, тем более что ничто не мешает думать и лежа.

Так и сделал. После чаю он уже приподнялся с своего ложа и чуть было не встал; поглядывая на туфли, он даже начал спускать к ним одну ногу с постели, но тотчас же опять подобрал ее.

Пробило половина десятого, Илья Ильич встрепетнулся.

— Что ж это я в самом деле? — сказал он вслух с досадой. — Надо совесть знать: пора за дело! Дай только волю себе, так и... Захар! — закричал он.

В комнате, которая отделялась только небольшим коридором от кабинета Ильи Ильича, послышалось сначала точно ворчанье цепной собаки, потом стук спрыгнувших откуда-то ног. Это Захар спрыгнул с лежанки, на которой обыкновенно проводил время, сидя погруженный в дремоту.

В комнату вошел пожилой человек, в сером сюртуке, с прорехою под мышкой, откуда торчал клочок рубашки, в сером же жилете, с медными пуговицами, с голым, как колено, черепом и с необъятно широкими

и густыми русыми с проседью бакенбардами, из которых каждой стало бы на три бороды.

Захар не старался изменить не только данного ему богом образа, но и своего костюма, в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по вывезенному им из деревни образцу. Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой полуформенной одежде он видел слабое воспоминание ливреи, которую он носил некогда, провожая покойных господ в церковь или в гости; а ливрея в воспоминаниях его была единственною представительницею достоинства дома Обломовых.

Более ничто не напоминало старику барского широкого и покойного быта в глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома и, чай, валяются где-нибудь на чердаке; предания о старинном быте и важности фамилии всёглохнут или живут только в памяти немногих оставшихся в деревне же стариков. Поэтому для Захара дорог был серый сюртук: в нем да еще в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, и в его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя и вслух, но которые между тем уважал внутренне, как проявление барской воли, господского права, видел он слабые намеки на отжившее величие.

Без этих капризов он как-то не чувствовал над собой барина; без них ничто не воскрешало молодости его, деревни, которую они покинули давно, и преданий об этом старинном доме, единственной хроники, веденной старыми слугами, няньками, мамками и передаваемой из рода в род.

Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стороне, но потом, бог знает отчего, все беднел, мельчал и, наконец, незаметно потерялся между нестарыми дворянскими домами. Только поседевшие слуги дома хранили и передавали друг другу верную память о минувшем, дорожа ею, как святынею.

Вот отчего Захар так любил свой серый сюртук. Может быть, и бакенбардами своими он дорожил пото-

му, что видел в детстве своем много старых слуг с этим старинным, аристократическим украшением.

Илья Ильич, погруженный в задумчивость, долго не замечал Захара. Захар стоял перед ним молча. Наконец он кашлянул.

— Что ты? — спросил Илья Ильич.

— Ведь вы звали?

— Звал? Зачем же это я звал — не помню! — отвечал он, потягиваясь. — Поди пока к себе, а я вспомню.

Захар ушел, а Илья Ильич продолжал лежать и думать о проклятом письме.

Прошло с четверть часа.

— Ну, полно лежать! — сказал он. — Надо же встать... А впрочем, дай-ка я прочту еще раз со вниманием письмо старосты, а потом уж и встану. — Захар!

Опять тот же прыжок и ворчанье сильнее. Захар вошел, а Обломов опять погрузился в задумчивость. Захар стоял минуты две, неблагоприятно, немного стороной посматривая на барина, и, наконец, пошел к дверям.

— Куда же ты? — вдруг спросил Обломов.

— Вы ничего не говорите, так что ж тут стоять-то даром? — захрипел Захар, за неимением другого голоса, который, по словам его, он потерял на охоте с собаками, когда ездил с старым барином и когда ему дунуло будто сильным ветром в горло.

Он стоял вполупорот среди комнаты и глядел все стороной на Обломова.

— А у тебя разве ноги отсохли, что ты не можешь постоять? Ты видишь, я озабочен — так и подожди! Не належался еще там? Сыщи письмо, что я вчера от старосты получил. Куда ты его дел?

— Какое письмо? Я никакого письма не видал, — сказал Захар.

— Ты же от почтальона принял его: грязное такое!

— Куда ж его положили — почему мне знать? — говорил Захар, хлопывая рукой по бумагам и по разным вещам, лежавшим на столе.

— Ты никогда ничего не знаешь. Там, в корзине, посмотри! Или не завалилось ли за диван? Вот спинка-то у дивана до сих пор не починена; что б тебе призвать столяра да починить? Ведь ты же изломал. Ни о чем не подумаешь!

— Я не ломал, — отвечал Захар, — она сама изломалась; не век же ей быть: надо когда-нибудь изломаться.

Илья Ильич не счел за нужное доказывать противное.

— Нашел, что ли? — спросил он только.

— Вот какие-то письма.

— Не те.

— Ну, так нет больше, — говорил Захар.

— Ну хорошо, поди! — с нетерпением сказал Илья Ильич. — Я встану, сам найду.

Захар пошел к себе, но только он уперся было рука-ми о лежанку, чтоб прыгнуть на нее, как опять послышался торопливый крик: «Захар, Захар!»

— Ах ты, господи! — ворчал Захар, отправляясь опять в кабинет. — Что это за мученье! Хоть бы смерть скорее пришла!

— Чего вам? — сказал он, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и глядя на Обломова, в знак благоволения, до того стороной, что ему приходилось видеть барина вполглаза, а барину видна была только одна необъятная бакенбарда, из которой так и ждешь, что вылетят две-три птицы.

— Носовой платок, скорей! Сам бы ты мог догадаться: не видишь! — строго заметил Илья Ильич.

Захар не обнаружил никакого особенного недовольствия или удивления при этом приказании и упреке барина, находя, вероятно, с своей стороны и то и другое весьма естественным.

— А кто его знает, где платок? — ворчал он, обходя вокруг комнату и ощупывая каждый стул, хотя и так можно было видеть, что на стульях ничего не лежит. — Все теряете! — заметил он, отворяя дверь в гостиную, чтоб посмотреть, нет ли там.

— Куда? Здесь ищи! Я с третьего дня там не был. Да скорее же! — говорил Илья Ильич.

— Где платок? Нету платка! — говорил Захар, разводя руками и озираясь во все углы. — Да вон он, — вдруг сердито захрипел он, — под вами! Вон конец торчит. Сами лежите на нем, а спрашиваете платка!

И, не дожидаясь ответа, Захар пошел было вон. Обломову стало немного неловко от собственного промаха. Он быстро нашел другой повод сделать Захара виноватым.

— Какая у тебя чистота везде: пыли-то, грязи-то, боже мой! Вон, вон, погляди-ка в углах-то — ничего не делаешь!

— Уж коли я ничего не делаю... — заговорил Захар обиженным голосом, — стараюсь, жизни не жалею! И пыль-то стираю, и мету-то почти каждый день...

Он указал на середину пола и на стол, на котором Обломов обедал.

— Вон, вон, — говорил он, — все подметено, прибрано, словно к свадьбе... Чего еще?

— А это что? — прервал Илья Ильич, указывая на стены и на потолок. — А это? А это? — Он указал и на брошенное со вчерашнего дня полотенце, и на забытую на столе тарелку с ломтем хлеба.

— Ну, это, пожалуй, уберу, — сказал Захар снисходительно, взяв тарелку.

— Только это! А пыль по стенам, а паутина?.. — говорил Обломов, указывая на стены.

— Это я к Святой неделе убираю: тогда образа чищу и паутину снимаю...

— А книги, картины обмести?..

— Книги и картины перед Рождеством: тогда с Анисьей все шкапы переберем. А теперь когда станешь убирать? Вы всё дома сидите.

— Я иногда в театр хожу да в гости: вот бы...

— Что за уборка ночью!

Обломов с упреком поглядел на него, покачал головой и вздохнул, а Захар равнодушно поглядел в окно и

тоже вздохнул. Барин, кажется, думал: «Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам», а Захар чуть ли не подумал: «Врешь! Ты только мастер говорить мудреные да жалкие слова, а до пыли и до паутины тебе и дела нет».

— Понимаешь ли ты, — сказал Илья Ильич, — что от пыли заводится моль? Я иногда даже вижу клопа на стене!

— У меня и блохи есть! — равнодушно отозвался Захар.

— Разве это хорошо? Ведь это гадость! — заметил Обломов.

Захар усмехнулся во все лицо, так что усмешка охватила даже брови и бакенбарды, которые от этого раздвинулись в стороны, и по всему лицу до самого лба расплылось красное пятно.

— Чем же я виноват, что клопы на свете есть? — сказал он с наивным удивлением. — Разве я их выдумал?

— Это от нечистоты, — перебил Обломов. — Что ты все врешь!

— И нечистоту не я выдумал.

— У тебя, вот, там, мыши бегают по ночам — я слышу.

— И мышей не я выдумал. Этой твари, что мышей, что кошек, что клопов, везде много.

— Как же у других не бывает ни моли, ни клопов?

На лице Захара выразилась недоверчивость, или, лучше сказать, покойная уверенность, что этого не бывает.

— У меня всего много, — сказал он упрямо, — за всяким клопом не усмотришь, в щелку к нему не влезешь.

А сам, кажется, думал: «Да и что за спанье без клопа?»

— Ты мети, выбирай сор из углов — и не будет ничего, — учил Обломов.

— Уберешь, а завтра опять наберется, — говорил Захар.



— Не наберется, — перебил барин, — не должно.

— Наберется — я знаю, — твердил слуга.

— А наберется, так опять вымети.

— Как это? Всякий день перебирай все углы? — спросил Захар. — Да что ж это за жизнь? Лучше бог по душу пошли!

— Отчего ж у других чисто? — возразил Обломов. — Посмотри напротив, у настройщика: любо взглянуть, а всего одна девка...

— А где немцы сору возьмут, — вдруг возразил Захар. — Вы поглядите-ко, как они живут! Вся семья целую неделю кость гложет. Сюртук с плеч отца переходит на сына, а с сына опять на отца. На жене и дочерях платишки коротенькие: всё поджимают под себя ноги, как гусыни... Где им сору взять? У них нет этого вот, как у нас, чтоб в шкафах лежала по годам куча старого изношенного платья или набрался целый угол корок хлеба за зиму... У них и корка зря не валяется: делают сухариков да с пивом и выпьют!

Захар даже сквозь зубы плюнул, рассуждая о таком скаредном житье.

— Нечего разговаривать! — возразил Илья Ильич. — Ты лучше убирай.

— Иной раз и убрал бы, да вы же сами не даете, — сказал Захар.

— Пошел свое! Все, видишь, я мешаю.

— Конечно, вы; все дома сидите: как при вас станешь убирать? Уйдите на целый день, так и уберу.

— Вот еще выдумал что — уйти! Поди-ка ты лучше к себе.

— Да право! — настаивал Захар. — Вот, хоть бы сегодня ушли, мы бы с Анисьей и убрали все. И то не управимся вдвоем-то: надо еще баб нанять, перемыть все.

— Э! Какие затеи — баб! Ступай себе, — говорил Илья Ильич.

Он уж был не рад, что вызвал Захара на этот разговор. Он все забывал, что чуть тронешь этот деликатный предмет, так и не оберешься хлопот.

Обломову и хотелось бы, чтоб было чисто, да он бы желал, чтоб это сделалось как-нибудь так, незаметно, само собой; а Захар всегда заводил тяжбу, лишь только начинали требовать от него сметания пыли, мытья полов и т. п. Он в таком случае станет доказывать необходимость громадной возни в доме, зная очень хорошо, что одна мысль об этом приводила барина его в ужас.

Захар ушел, а Обломов погрузился в размышления. Через несколько минут пробило еще полчаса.

— Что это? — почти с ужасом сказал Илья Ильич. — Одиннадцать часов скоро, а я еще не встал, не умылся до сих пор? Захар, Захар!

— Ах ты, боже мой! Ну! — послышалось из передней, и потом известный прыжок.

— Умыться готово? — спросил Обломов.

— Готово давно! — отвечал Захар. — Чего вы не встаете?

— Что ж ты не скажешь, что готово? Я бы уж и встал давно. Пооди же, я сейчас иду вслед за тобою. Мне надо заниматься, я сяду писать.

Захар ушел, но через минуту воротился с исписанной и замасленной тетрадкой и клочками бумаги.

— Вот, коли будете писать, так уж кстати извольте и счета поверить: надо деньги заплатить.

— Какие счета? Какие деньги? — с неудовольствием спросил Илья Ильич.

— От мясника, от зеленщика, от прачки, от хлебника: все денег просят.

— Только о деньгах и забота! — ворчал Илья Ильич. — А ты что понемногу не подаешь счета, а все вдруг?

— Вы же ведь все прогоняли меня: завтра да завтра...

— Ну, так и теперь разве нельзя до завтра?

— Нет! Уж очень пристают: больше не дают в долг. Нынче первое число.

— Ах! — с тоской сказал Обломов. — Новая забота!

Ну, что стоишь? Положи на стол. Я сейчас встану, умоюсь и посмотрю, — сказал Илья Ильич. — Так умыться-то готово?

— Готово! — сказал Захар.

— Ну, теперь...

Он начал было, кряхтя, приподниматься на постели, чтоб встать.

— Я забыл вам сказать, — начал Захар, — давеча, как вы еще почивали, управляющий дворника прислал: говорит, что непременно надо съехать... квартира нужна.

— Ну, что ж такое? Если нужна, так, разумеется, съедем. Что ты пристаешь ко мне? Уж ты третий раз говоришь мне об этом.

— Ко мне пристают тоже.

— Скажи, что съедем.

— Они говорят: вы уж с месяц, говорят, обещали, а все не съезжаете, мы, говорят, полиции дадим знать.

— Пусть дают знать! — сказал решительно Обломов. — Мы и сами переедем, как потеплее будет, недели через три.

— Куда недели через три! Управляющий говорит, что чрез две недели рабочие придут: ломать все будут... «Съезжайте, — говорит, — завтра или послезавтра...»

— Э-э-э! Слишком проворно! Видишь, еще что! Не сейчас ли прикажете? А ты мне не смей и напоминать о квартире. Я уж тебе запретил раз; а ты опять. Смотри!

— Что ж мне делать-то? — отозвался Захар.

— Что ж делать? — вот он чем отделяется от меня! — отвечал Илья Ильич. — Он меня спрашивает! Мне что за дело? Ты не беспокой меня, а там, как хочешь, так и распорядись, только чтоб не переезжать. Не может постараться для барина!

— Да как же, батюшка Илья Ильич, я распоряджусь? — начал мягким сипеньем Захар. — Дом-то не мой: как же из чужого дома не переезжать, коли гонят? Кабы мой дом был, так я бы с великим моим удовольствием...

— Нельзя ли их уговорить как-нибудь. «Мы, дескать, живем давно, платим исправно».

— Говорил, — сказал Захар.

— Ну, что ж они?

— Что! Наладили свое: «Переезжайте, — говорят, — нам нужно квартиру переделывать». Хотят из докторской и из этой одну большую квартиру сделать, к свадьбе хозяйского сына.

— Ах ты, боже мой! — с досадой сказал Обломов. — Ведь есть же этакие ослы, что женятся!

Он повернулся на спину.

— Вы бы написали, сударь, к хозяину, — сказал Захар, — так, может быть, он бы вас не тронул, а велел бы сначала вон ту квартиру ломать.

Захар при этом показал рукой куда-то направо.

— Ну, хорошо, как встану, напишу... Ты ступай к себе, а я подумаю. Ничего ты не умеешь сделать, — добавил он, — мне и об этой дряни надо самому хлопотать.

Захар ушел, а Обломов стал думать.

Но он был в затруднении, о чем думать: о письме ли старосты, о переезде ли на новую квартиру, приняться ли сводить счеты? Он терялся в приливе житейских забот и все лежал, ворочаясь с боку на бок. По временам только слышались отрывистые восклицания: «Ах, боже мой! Трогает жизнь, везде достает».

Неизвестно, долго ли бы еще пробыл он в этой нерешительности, но в передней раздался звонок.

— Уж кто-то и пришел! — сказал Обломов, кутаясь в халат. — А я еще не вставал — срам, да и только! Кто бы это так рано?

И он, лежа, с любопытством глядел на двери.

## II

Вошел молодой человек лет двадцати пяти, блестящий здоровьем, с смеющимися щеками, губами и глазами. Зависть брала смотреть на него.

Он был причесан и одет безукоризненно, ослеплял свежестью лица, белья, перчаток и фрака. По жилету лежала изящная цепочка, с множеством мельчайших брелочков. Он вынул тончайший батистовый платок, вдохнул ароматы Востока, потом небрежно провел им по лицу, по глянцевиной шляпе и обмахнул лакированные сапоги.

— А, Волков, здравствуйте! — сказал Илья Ильич.

— Здравствуйте, Обломов, — говорил блистающий господин, подходя к нему.

— Не подходите, не подходите: вы с холода! — сказал тот.

— О, баловень, сибарит! — говорил Волков, глядя, куда бы положить шляпу, и, видя везде пыль, не положил никуда; раздвинул обе полы фрака, чтобы сесть, но, посмотрев внимательно на кресло, остался на ногах. — Вы еще не вставали! Что это на вас за шлафрок? Такие давно бросили носить, — стыдил он Обломова.

— Это не шлафрок, а халат, — сказал Обломов, с любовью кутаясь в широкие полы халата.

— Здоровы ли вы? — спросил Волков.

— Какое здоровье! — зевая, сказал Обломов. — Плохо! Приливы замучили. А вы как поживаете?

— Я? Ничего: здорово и весело — очень весело! — с чувством прибавил молодой человек.

— Откуда вы так рано? — спросил Обломов.

— От портного. Посмотрите, хорош фрак? — говорил он, ворочаясь перед Обломовым.

— Отличный! С большим вкусом сшит, — сказал Илья Ильич, — только отчего он такой широкий сзади?

— Это рейт-фрак: для верховой езды.

— А! Вот что! Разве вы ездите верхом?

— Как же! К нынешнему дню и фрак нарочно заказывал. Ведь сегодня первое мая: с Горюновым едем в Екатеринбург. Ах! Вы не знаете? Горюнова Мишу произвели — вот мы сегодня и отличаемся, — в восторге добавил Волков.

— Вот как! — сказал Обломов.

— У него рыжая лошадь, — продолжал Волков, — у них в полку рыжие, а у меня вороная. Вы как будете: пешком или в экипаже?

— Да... никак, — сказал Обломов.

— Первого мая в Екатерингофе не быть! Что вы, Илья Ильич! — с изумлением говорил Волков. — Да там все!

— Ну, как все! Нет, не все! — лениво заметил Обломов.

— Поезжайте, душенька Илья Ильич! Софья Николаевна с Лидией будут в экипаже только две, напротив в коляске есть скамеечка: вот бы вы с ними...

— Нет, я не усядусь на скамеечке. Да и что стану я там делать?

— Ну так, хотите, Миша другую лошадь вам даст?

— Бог знает что выдумает! — почти про себя сказал Обломов. — Что вам дались Горюновы?

— Ах! — вспыхнув, произнес Волков. — Сказать?

— Говорите!

— Вы никому не скажете — честное слово? — продолжал Волков, садясь к нему на диван.

— Пожалуй.

— Я... влюблен в Лидию, — прошептал он.

— Bravo! Давно ли? Она, кажется, такая миленькая.

— Вот уж три недели! — с глубоким вздохом сказал Волков. — А Миша в Дашеньку влюблен.

— В какую Дашеньку?

— Откуда вы, Обломов? Не знает Дашеньки! Весь город без ума, как она танцует! Сегодня мы с ним в балете; он бросит букет. Надо его ввести: он робок, еще новичок... Ах! Ведь нужно ехать камелий достать...

— Куда еще? Полно вам, приезжайте-ка обедать: мы бы поговорили. У меня два несчастья...

— Не могу: я у князя Тюменева обедаю; там будут все Горюновы и она, она... Лиденька, — прибавил он шепотом. — Что это вы оставили князя? Какой веселый дом! На какую ногу поставлен! А дача! Утонула в цве-

тах! Галерею пристроили, gothique<sup>1</sup>. Летом, говорят, будут танцы, живые картины. Вы *будете бывать?*

— Нет, я думаю, не буду.

— Ах, какой дом! Нынешнюю зиму по средам меньше пятидесяти человек не бывало, а иногда набиралось до ста...

— Боже ты мой! Вот скука-то должна быть адская!

— Как это можно? Скука! Да чем больше, тем веселей. Лидия бывала там, я ее не замечал, да вдруг...

Напрасно я забыть ее стараюсь  
И страсть хочу рассудком победить... —

запел он и сел, забывшись, на кресло, но вдруг вскочил и стал отирать пыль с платья.

— Какая у вас пыль везде! — сказал он.

— Все Захар! — пожаловался Обломов.

— Ну, мне пора! — сказал Волков. — За камелиями для букета Мише. Au revoir<sup>2</sup>.

— Приезжайте вечером чай пить, из балета: расскажете, как там что было, — приглашал Обломов.

— Не могу, дал слово к Муссинским: их день сегодня. Поедемте и вы. Хотите, я вас представлю?

— Нет, что там делать?

— У Муссинских? Помилуйте, да там полгорода бывает. Как что делать? Это такой дом, где обо всем говорят...

— Вот это-то и скучно, что обо всем, — сказал Обломов.

— Ну, посещайте Мездровых, — перебил Волков, — там уж об одном говорят, об искусствах; только и слышишь: венецианская школа, Бетховен да Бах, Леонардо да Винчи...

— Век об одном и том же — какая скука! Педанты, должно быть! — сказал, зевая, Обломов.

— На вас не угодишь. Да мало ли домов! Теперь у

---

<sup>1</sup> в готическом стиле (*фр.*).

<sup>2</sup> До свиданья (*фр.*).

всех дни: у Савиновых по четвергам обедают, у Маклашиных — пятницы, у Вязниковых — воскресенья, у князя Тюменева — среды. У меня все дни заняты! — с сияющими глазами заключил Волков.

— И вам не лень мыкаться изо дня в день?

— Вот, лень! Что за лень? Превесело! — беспечно говорил он. — Утро считаешь, надо быть *au courant*<sup>1</sup> всего, знать новости. Слава богу, у меня служба такая, что не нужно бывать в должности. Только два раза в неделю посижу да пообедаю у генерала, а потом поедешь с визитами, где давно не был; ну, а там... новая актриса, то на русском, то на французском театре. Вот опера будет, я абонируюсь. А теперь влюблен... Начинается лето; Мише обещали отпуск; поедem к ним в деревню на месяц, для разнообразия. Там охота. У них отличные соседи, дают *bals champêtres*<sup>2</sup>. С Лидией будем в роще гулять, кататься в лодке, рвать цветы... Ах!.. — И он перевернулся от радости. — Однако пора... Прощайте, — говорил он, напрасно стараясь оглядеть себя спереди и сзади в запыленное зеркало.

— Погодите, — удерживал Обломов, — я было хотел поговорить с вами о делах.

— *Pardon*<sup>3</sup>, некогда, — торопился Волков, — в другой раз! А не хотите ли со мной есть устриц? Тогда и расскажете. Поедemте, Миша угощает.

— Нет, бог с вами! — говорил Обломов.

— Прощайте же.

Он пошел и вернулся.

— Видели это? — спросил он, показывая руку, как вылитую в перчатке.

— Что это такое? — спросил Обломов в недоумении.

— А новые *lacets*!<sup>4</sup> Видите, как отлично стягивает: не мучишься над пуговкой два часа; потянул шнуро-

---

<sup>1</sup> в курсе (*фр.*).

<sup>2</sup> балы на воздухе (*фр.*).

<sup>3</sup> Извините (*фр.*).

<sup>4</sup> шнурки (*фр.*).



чек — и готово. Это только что из Парижа. Хотите, привезу вам на пробу пару?

— Хорошо, привезите! — говорил Обломов.

— А посмотрите это: не правда ли, очень мило? — говорил он, отыскав в куче брелоков один. — Визитная карточка с загнутым углом.

— Не разберу, что написано.

— Pг. pгiпсе M. Michel<sup>1</sup>, — говорил Волков, — а фамилия Тюменев не уписалась; это он мне в Пасху подарил, вместо яичка. Но прощайте, au revoir. Мне еще в десять мест. Боже мой, что это за веселье на свете!

И он исчез.

«В десять мест в один день — несчастный! — думал Обломов. — И это жизнь! — Он сильно пожал плечами. — Где же тут человек? На что он раздробляется и рассыпается? Конечно, недурно заглянуть и в театр, и влюбиться в какую-нибудь Лидию... она миленькая! В деревне с ней цветы рвать, кататься хорошо; да в десять мест в один день — несчастный!» — заключил он, перевертываясь на спину и радуясь, что нет у него таких пустых желаний и мыслей, что он не мыкается, а лежит вот тут, сохраняя свое человеческое достоинство и свой покой.

Новый звонок прервал его размышления.

Вошел новый гость.

Это был господин в темно-зеленом фраке с гербовыми пуговицами, гладко выбритый, с темными, ровно окаймлявшими его лицо бакенбардами, с утружденным, но покойно-сознательным выражением в глазах, с сильно потертым лицом, с задумчивой улыбкой.

— Здравствуй, Судьбинский! — весело поздоровался Обломов. — Насилу заглянул к старому сослуживцу! Не подходи, не подходи! Ты с холоду.

— Здравствуй, Илья Ильич. Давно собирался к тебе, — говорил гость, — да ведь ты знаешь, какая у нас

---

<sup>1</sup> Князь М. Мишель (*фр.*).

дьявольская служба! Вон, посмотри, целый чемодан везу к докладу; и теперь, если там спросят что-нибудь, велел курьеру скакать сюда. Ни минуты нельзя располагать собой.

— Ты еще на службу? Что так поздно? — спросил Обломов. — Бывало, ты с десяти часов...

— Бывало — да; а теперь другое дело: в двенадцать часов *езжу*. — Он сделал на последнем слове ударение.

— А! Догадываюсь! — сказал Обломов. — Начальник отделения! Давно ли?

Судьбинский значительно кивнул головой.

— К Святой, — сказал он. — Но сколько дела — ужас! С восьми до двенадцати часов дома, с двенадцати до пяти в канцелярии, да вечером занимаюсь. От людей отвык совсем!

— Гм! Начальник отделения — вот как! — сказал Обломов. — Поздравляю! Каков? А вместе канцелярскими чиновниками служили. Я думаю, на будущий год в статские махнешь.

— Куда! Бог с тобой! Еще нынешний год корону надо получить; думал *за отличие* представят, а теперь новую должность занял: нельзя два года сряду...

— Приходи обедать, выпьем за повышение! — сказал Обломов.

— Нет, сегодня у вице-директора обедаю. К четвергу надо приготовить доклад — адская работа! На представления из губерний положиться нельзя. Надо проверить самому списки. Фома Фомич такой мнительный: все хочет сам. Вот сегодня вместе после обеда и засядем.

— Ужели и после обеда? — спросил Обломов недоверчиво.

— А как ты думал? Еще хорошо, если пораньше отделаюсь да успею хоть в Екатерингоф прокатиться... Да, я заехал спросить: не поедешь ли ты на гулянье? Я бы заехал...

— Нездоровится что-то, не могу! — сморщившись, сказал Обломов. — Да и дела много... нет, не могу!

— Жаль! — сказал Судьбинский. — А день хорош. Только сегодня и надеюсь вздохнуть.

— Ну, что нового у вас? — спросил Обломов.

— Да много кое-чего: в письмах отменили писать «покорнейший слуга», пишут «примите уверение»; формулярных списков по два экземпляра не велено представлять. У нас прибавляют три стола и двух чиновников особых поручений. Нашу комиссию закрыли... Много!

— Ну, а что наши бывшие товарищи?

— Ничего пока; Свинкин дело потерял!

— В самом деле? Что ж директор? — спросил Обломов дрожащим голосом. Ему, по старой памяти, страшно стало.

— Велел задержать награду, пока не отыщется. Дело важное: «о взысканиях». Директор думает, — почти шепотом прибавил Судьбинский, — что он потерял его... нарочно.

— Не может быть! — сказал Обломов.

— Нет, нет! Это напрасно, — с важностью и покровительством подтвердил Судьбинский. — Свинкин ветреная голова. Иногда черт знает какие тебе итоги выведет, перепутает все справки. Я измучился с ним; а только нет, он не замечен ни в чем таком... Он не сдает, нет, нет! Завалялось дело где-нибудь; после отыщется.

— Так вот как: всё в трудах! — говорил Обломов. — Работаешь.

— Ужас, ужас! Ну, конечно, с таким человеком, как Фома Фомич, приятно служить: без наград не оставляет; кто и ничего не делает, и тех не забудет. Как вышел срок — за отличие, так и представляет; кому не вышел срок к чину, к кресту, — деньги выхлопочет...

— Ты сколько получаешь?

— Да что: тысяча двести рублей жалованья, особо столовых семьсот пятьдесят, квартирных шестьсот, пособия девятьсот, на разъезды пятьсот, да награды рублей до тысячи.

— Фу! Черт возьми! — сказал, вскочив с постели, Обломов. — Голос, что ли, у тебя хорош? Точно итальянский певец!

— Что еще это! Вон Пересветов прибавочные получает, а дела-то меньше моего делает и не смыслит ничего. Ну, конечно, он не имеет такой репутации. Меня очень ценят, — скромно прибавил он, потупя глаза, — министр недавно выразился про меня, что я «украшение министерства».

— Молодец! — сказал Обломов. — Вот только работать с восьми часов до двенадцати, с двенадцати до пяти, да дома еще — ой, ой!

Он покачал головой.

— А что ж бы я стал делать, если б не служил? — спросил Судьбинский.

— Мало ли что! Читал бы, писал... — сказал Обломов.

— Я и теперь только и делаю, что читаю да пишу.

— Да это не то; ты бы печатал...

— Не всем же быть писателями. Вот и ты ведь не пишешь, — возразил Судьбинский.

— Зато у меня имение на руках, — со вздохом сказал Обломов. — Я соображаю новый план; разные улучшения ввожу. Мучаюсь, мучаюсь... А ты ведь чужое делаешь, не свое.

— Что ж делать! Надо работать, коли деньги берешь. Летом отдохну: Фома Фомич обещает выдумать командировку нарочно для меня... вот, тут получу прогоны на пять лошадей, суточных рубля по три в сутки, а потом награду...

— Эк ломают! — с завистью говорил Обломов; потом вздохнул и задумался.

— Деньги нужны: осенью женюсь, — прибавил Судьбинский.

— Что ты! В самом деле? На ком? — с участием сказал Обломов.

— Не шутя, на Мурашиной. Помнишь, подле меня на даче жили? Ты пил чай у меня и, кажется, видел ее.

— Нет, не помню! Хорошенькая? — спросил Обломов.

— Да, мила. Поедем, если хочешь, к ним обедать...

Обломов замялся.

— Да... хорошо, только...

— На той неделе, — сказал Судьбинский.

— Да, да, на той неделе, — обрадовался Обломов, — у меня еще платье не готово. Что ж, хорошая партия?

— Да, отец действительный статский советник; десять тысяч дает, квартира казенная. Он нам целую половину отвел, двенадцать комнат; мебель казенная, отопление, освещение тоже: можно жить...

— Да, можно! Еще бы! Каков Судьбинский! — прибавил, не без зависти, Обломов.

— На свадьбу, Илья Ильич, шафером приглашаю: смотри...

— Как же, непременно! — сказал Обломов. — Ну, а что Кузнецов, Васильев, Махов?

— Кузнецов женат давно, Махов на мое место поступил, а Васильева перевели в Польшу. Ивану Петровичу дали Владимира, Олешкин — его превосходительство.

— Он добрый малый! — сказал Обломов.

— Добрый, добрый; он стоит.

— Очень добрый, характер мягкий, ровный, — говорил Обломов.

— Такой обязательный, — прибавил Судьбинский, — и нет этого, знаешь, чтоб выслужиться, подгадить, подставить ногу, опередить... все делает, что может.

— Прекрасный человек! Бывало, напутаешь в бумаге, не доглядишь, не то мнение или законы подведешь в записке, ничего: велит только другому переделать. Отличный человек! — заключил Обломов.

— А вот наш Семен Семеныч так неисправим, — сказал Судьбинский, — только мастер пыль в глаза пускать. Недавно что он сделал: из губерний поступило представление о возведении при зданиях, принадлежащих нашему ведомству, собачьих конур для сбережения казенного имущества от расхищения; наш архитектор,

человек дельный, знающий и честный, составил очень умеренную смету; вдруг показалась ему велика, и давай наводить справки, что может стоить постройка собачьей конуры? Нашел где-то тридцатую копейками меньше — сейчас докладную записку...

Раздался еще звонок.

— Прощай, — сказал чиновник, — я заболтался, что-нибудь понадобится там...

— Посиди еще, — удерживал Обломов. — Кстати, я посоветуюсь с тобой: у меня два несчастья...

— Нет, нет, я лучше опять заеду на днях, — сказал он, уходя.

«Увяз, любезный друг, по уши увяз, — думал Обломов, провожая его глазами. — И слеп, и глух, и нем для всего остального в мире. А выйдет в люди, будет со временем ворочать делами и чинов нахватает... У нас это называется тоже карьерой! А как мало тут человека-то нужно: ума его, воли, чувства — зачем это? Роскошь! И проживет свой век, и не пошевелится в нем многое, многое... А между тем работает с двенадцати до пяти в канцелярии, с восьми до двенадцати дома — несчастный!»

Он испытал чувство мирной радости, что он с девяти до трех, с восьми до девяти может пробыть у себя на диване, и гордился, что не надо идти с докладом, писать бумаг, что есть простор его чувствам, воображению.

Обломов философствовал и не заметил, что у постели его стоял очень худощавый, черненький господин, заросший весь бакенбардами, усами и эспаньолкой. Он был одет с умышленной небрежностью.

— Здравствуйте, Илья Ильич.

— Здравствуйте, Пенкин; не подходите, не подходите: вы с холода! — говорил Обломов.

— Ах вы, чудак! — сказал тот. — Все такой же неисправимый, беззаботный ленивец!

— Да, беззаботный! — сказал Обломов. — Вот я вам

сейчас покажу письмо от старосты: ломаешь, ломаешь голову, а вы говорите: беззаботный! Откуда вы?

— Из книжной лавки: ходил узнать, не вышли ли журналы. Читали мою статью?

— Нет.

— Я вам пришлю, прочтите.

— О чем? — спросил сквозь сильную зевоту Обломов.

— О торговле, об эманципации женщин, о прекрасных апрельских днях, какие выпали нам на долю, и о вновь изобретенном составе против пожаров. Как это вы не читаете? Ведь тут наша вседневная жизнь. А лучше всего я ратую за реальное направление в литературе.

— Много у вас дела? — спросил Обломов.

— Да, довольно. Две статьи в газету каждую неделю, потом разборы беллетристов пишу, да вот написал рассказ...

— О чем?

— О том, как в одном городе городничий бьет мещан по зубам...

— Да, это в самом деле реальное направление, — сказал Обломов.

— Не правда ли? — подтвердил обрадованный литератор. — Я провожу вот какую мысль и знаю, что она новая и смелая. Один проезжий был свидетелем этих побоев и при свидании с губернатором пожаловался ему. Тот приказал чиновнику, ехавшему туда на следствие, мимоходом удостовериться в этом и вообще собрать сведения о личности и поведении городничего. Чиновник созвал мещан, будто расспросить о торговле, а между тем давай разведывать и об этом. Что ж мещане? Кланяются да смеются и городничего превозносят похвалами. Чиновник стал узнавать стороной, и ему сказали, что мещане — мошенники страшные, торгуют гнилью, обвешивают, обмеривают даже казну, все безнравственны, так что побои эти — праведная кара...

— Стало быть, побои городничего выступают в повести, как *fatum*<sup>1</sup> древних трагиков? — сказал Обломов.

— Именно, — подхватил Пенкин. — У вас много такта, Илья Ильич, вам бы писать! А между тем мне удалось показать и самоуправство городничего, и развращение нравов в простонародье; дурную организацию действий подчиненных чиновников и необходимость строгих, но законных мер... Не правда ли, эта мысль... довольно новая?

— Да, в особенности для меня, — сказал Обломов, — я так мало читаю...

— В самом деле не видать книг у вас! — сказал Пенкин. — Но, умоляю вас, прочтите одну вещь; готовится великолепная, можно сказать, поэма: «Любовь взяточника к падшей женщине». Я не могу вам сказать, кто автор: это еще секрет.

— Что ж там такое?

— Обнаружен весь механизм нашего общественного движения, и все в поэтических красках. Все пружины тронуты; все ступени общественной лестницы перебраны. Сюда, как на суд, созваны автором и слабый, но порочный вельможа, и целый рой обманывающих его взяточников; и все разряды падших женщин разобраны... француженки, немки, чухонки, и всё, всё... с поразительной, животрепещущей верностью... Я слышал отрывки — автор велик! В нем слышится то Дант, то Шекспир...

— Вон куда хватили! — в изумлении сказал Обломов, привстав.

Пенкин вдруг смолк, видя, что действительно он далеко хватил.

— Вот вы прочтите, увидите сами, — добавил он уже без азарта...

— Нет, Пенкин, я не стану читать.

— Отчего ж? Это делает шум, об этом говорят...

---

<sup>1</sup> рок (*лат.*).



— Да пускай их! Некоторым ведь больше нечего и делать, как только говорить. Есть такое призвание.

— Да хоть из любопытства прочтите.

— Чего я там не видал? — говорил Обломов. — За чем это они пишут: только себя тешат...

— Как себя: верность-то, верность какая! До смеха похоже. Точно живые портреты. Как кого возьмут, купца ли, чиновника, офицера, будочника, — точно живьем и отпечатают.

— Из чего же они бьются: из потехи, что ли, что вот кого-де ни возьмем, а верно и выйдет? А жизни-то и нет ни в чем: нет понимания ее и сочувствия, нет того, что там у вас называется гуманитетом. Одно самолюбие только. Изображают-то они воров, падших женщин, точно ловят их на улице да отводят в тюрьму. В их рассказе слышны не «невидимые слезы», а один только видимый, грубый смех, злость...

— Что ж еще нужно? И прекрасно, вы сами высказались: это кипучая злость — желчное гонение на порок, смех презрения над падшим человеком... тут все!

— Нет, не все! — вдруг воспламенившись, сказал Обломов. — Изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Где же человечность-то? Вы одной головой хотите писать! — почти шипел Обломов. — Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку, чтоб поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собой, — тогда я стану вас читать и склоню перед вами голову... — сказал он, улегшись опять покойно на диване. — Изображают они вора, падшую женщину, — говорил он, — а человека-то забывают или не умеют изобразить. Какое же тут искусство, какие поэтические краски нашли вы? Обличайте разврат, грязь, только, пожалуйста, без претензии на поэзию.

— Что же, природу прикажете изображать: розы, соловья или морозное утро, между тем как все кипит,

движется вокруг? Нам нужна одна голая физиология общества; не до песен нам теперь...

— Человека, человека давайте мне! — говорил Обломов. — Любите его...

— Любить ростовщика, ханжу, ворующего или тупоумного чиновника — слышите? Что вы это? И видно, что вы не занимаетесь литературой! — горячился Пенкин. — Нет, их надо карать, извергнуть из гражданской среды, из общества...

— Извергнуть из гражданской среды! — вдруг заговорил вдохновенно Обломов, встав перед Пенкиным. — Это значит забыть, что в этом негодном сосуде присутствовало высшее начало; что он испорченный человек, но все человек же, то есть вы сами. Извергнуть! А как вы извергнете из круга человечества, из лона природы, из милосердия божия? — почти крикнул он с пылающими глазами.

— Вон куда хватили! — в свою очередь с изумлением сказал Пенкин.

Обломов увидел, что и он далеко хватил. Он вдруг смолк, постоял с минуту, зевнул и медленно лег на диван. Оба погрузились в молчание.

— Что ж вы читаете? — спросил Пенкин.

— Я... да все путешествия больше.

Опять молчание.

— Так прочтете поэму, когда выйдет? Я бы принес... — спросил Пенкин.

Обломов сделал отрицательный знак головой.

— Ну, я вам свой рассказ пришлю?

Обломов кивнул в знак согласия.

— Однако мне пора в типографию! — сказал Пенкин. — Я знаете зачем пришел к вам? Я хотел предложить вам ехать в Екатерингоф; у меня коляска. Мне завтра надо статью писать о гулянье: вместе бы наблюдать стали, чего бы не заметил я, вы бы сообщили мне; веселее бы было. Поедемте...

— Нет, нездоровится, — сказал Обломов, морщась и прикрываясь одеялом, — сырости боюсь, теперь еще не

высохло. А вот вы бы сегодня обедать пришли: мы бы поговорили... У меня два несчастья...

— Нет, наша редакция вся у Сен-Жоржа сегодня, от туда и поедем на гулянье. А ночью писать и чем свет в типографию отсылать. До свидания.

— До свиданья, Пенкин.

«Ночью писать, — думал Обломов, — когда же спать-то? А поди тысяч пять в год заработает! Это хлеб! Да писать-то все, тратить мысль, душу свою на мелочи, менять убеждения, торговать умом и воображением, насиловать свою натуру, волноваться, кипеть, гореть, не знать покоя и все куда-то двигаться... И все писать, все писать, как колесо, как машина: пиши завтра, послезавтра; праздник придет, лето настанет — а он все пиши? Когда же остановиться и отдохнуть? Несчастный!»

Он повернул голову к столу, где все было гладко, и чернила засохли, и пера не видать, и радовался, что лежит он, беззаботен, как новорожденный младенец, что не разбрасывается, не продает ничего...

«А письмо старосты, а квартира?» — вдруг вспомнил он и задумался.

Но вот опять звонят.

— Что это сегодня за раут у меня? — сказал Обломов и ждал, кто войдет.

Вошел человек неопределенных лет, с неопределенной физиономией, в такой поре, когда трудно бывает угадать лета; не красив и не дурен, не высок и не низок ростом, не блондин и не брюнет. Природа не дала ему никакой резкой, заметной черты, ни дурной, ни хорошей. Его многие называли Иваном Иванычем, другие — Иваном Васильичем, третьи — Иваном Михайлычем.

Фамилию его называли тоже различно: одни говорили, что он Иванов, другие звали Васильевым или Андреевым, третьи думали, что он Алексеев. Постороннему, который увидит его в первый раз, скажут имя его — тот забудет сейчас, и лицо забудет; что он скажет — не

заметит. Присутствие его ничего не придаст обществу, так же как отсутствие ничего не отнимет от него. Остроумия, оригинальности и других особенностей, как особых примет на теле, в его уме нет.

Может быть, он умел бы, по крайней мере, рассказать все, что видел и слышал, и занять хоть этим других, но он нигде не бывал: как родился в Петербурге, так и не выезжал никуда; следовательно, видел и слышал то, что знали и другие.

Симпатичен ли такой человек? Любит ли, ненавидит ли, страдает ли? Должен бы, кажется, и любить, и не любить, и страдать, потому что никто не избавлен от этого. Но он как-то ухитряется всех любить. Есть такие люди, в которых, как ни бейся, не возбудишь никак духа вражды, мщения и т. п. Что ни делай с ними, они всё ласкаются. Впрочем, надо отдать им справедливость, что и любовь их, если разделить ее на градусы, до степени жара никогда не доходит. Хотя про таких людей говорят, что они любят всех и потому добры, а, в сущности, они никого не любят и добры потому только, что не злы.

Если при таком человеке подадут другие нищему милостыню — и он бросит ему свой грош, а если обругают, или прогонят, или посмеются — так и он обругает и посмеется с другими. Богатым его нельзя назвать, потому что он не богат, а скорее беден; но решительно бедным тоже не назовешь, потому, впрочем, только, что много есть беднее его.

Он имеет своего какого-то дохода рублей триста в год, и сверх того он служит в какой-то неважной должности и получает неважное жалованье: нужды не терпит и денег ни у кого не занимает, а занять у него и недавно в голову никому не приходит.

В службе у него нет особенного постоянного занятия, потому что никак не могли заметить сослуживцы и начальники, что он делает хуже, что лучше, так, чтоб можно было определить, к чему он именно способен. Если дадут сделать и то и другое, он так сделает, что

начальник всегда затрудняется, как отозваться о его труде; посмотрит, посмотрит, почитает, почитает, да и скажет только: «Оставьте, я после посмотрю... да, оно почти так, как нужно».

Никогда не поймашь на лице его следа заботы, мечты, что бы показывало, что он в эту минуту беседует сам с собою, или никогда тоже не увидишь, чтоб он устремил пытливый взгляд на какой-нибудь внешний предмет, который бы хотел усвоить своему ведению.

Встретится ему знакомый на улице. «Куда?» — спросит. «Да вот иду на службу, или в магазин, или проведать кого-нибудь». — «Пойдем лучше со мной, — скажет тот, — на почту, или зайдем к портному, или прогуляемся», — и он идет с ним, заходит и к портному, и на почту, и прогуливается в противоположную сторону от той, куда шел.

Едва ли кто-нибудь, кроме матери, заметил появление его на свет, очень немногие замечают его в течение жизни, но, верно, никто не заметит, как он исчезнет со света; никто не спросит, не пожалует о нем, никто и не порадует его смерти. У него нет ни врагов, ни друзей, ни знакомых множество. Может быть, только похоронная процессия обратит на себя внимание прохожего, который почитит это неопределенное лицо в первый раз достающеюся ему почестью — глубоким поклоном; может быть, даже другой, любопытный, забежит вперед процессии узнать об имени покойника и тут же забудет его.

Весь этот Алексеев, Васильев, Андреев, или как хотите, есть какой-то неполный, безличный намек на людскую массу, глухое отзвучие, неясный ее отблеск.

Даже Захар, который, в откровенных беседах, на сходках у ворот или в лавочке, делал разную характеристику всех гостей, посещавших барина его, всегда затруднялся, когда очередь доходила до этого... положим хоть, Алексеева. Он долго думал, долго ловил какую-нибудь угловатую черту, за которую можно было бы уцепиться, в наружности, в манерах или в характере этого

лица, наконец, махнув рукой, выражался так: «А у этого ни кожи, ни рожи, ни ведения!»

— А! — встретил его Обломов. — Это вы, Алексеев? Здравствуйте. Откуда? Не подходите, не подходите; я вам не дам руки: вы с холода!

— Что вы, какой холод! Я не думал к вам сегодня, — сказал Алексеев, — да Овчинин встретился и увез к себе. Я за вами, Илья Ильич.

— Куда это?

— Да к Овчинину-то, поедемте. Там Матвей Андреевич Альянов, Казимир Альбертыч Пхайло, Василий Севастьяныч Колымягин.

— Что ж они там собрались и что им нужно от меня?

— Овчинин зовет вас обедать.

— Гм! Обедать... — повторил Обломов монотонно.

— А потом все в Екатеринбург отправляются: они велели сказать, чтоб вы коляску наняли.

— А что там делать?

— Как же! Нынче там гулянье. Разве не знаете: сегодня первое мая?

— Посидите; мы подумаем... — сказал Обломов.

— Вставайте же! Пора одеваться.

— Погодите немного: ведь рано.

— Что за рано! Они просили в двенадцать часов; отобедаем пораньше, часа в два, да и на гулянье. Едемте же скорей! Велеть вам одеваться давать?

— Куда одеваться? Я еще не умылся.

— Так умывайтесь.

Алексеев стал ходить взад и вперед по комнате, потом остановился перед картиной, которую видел тысячу раз прежде, взглянул мельком в окно, взял какую-то вещь с этажерки, повертел в руках, посмотрел со всех сторон и положил опять, а там пошел опять ходить, посвистывая, — это все, чтоб не мешать Обломову встать и умыться. Так прошло минут десять.

— Что ж вы? — вдруг спросил Алексеев Илью Ильича.

— Что?

— Да все лежите?

— А разве надо вставать?

— Как же! Нас ожидают. Вы хотели ехать.

— Куда это ехать? Я не хотел ехать никуда...

— Вот, Илья Ильич, сейчас ведь говорили, что едем обедать к Овчинину, а потом в Екатерингоф...

— Это я по сырости поеду! И чего я там не видал? Вон дождь собирается, пасмурно на дворе, — лениво говорил Обломов.

— На небе ни облачка, а вы выдумали дождь. Пасмурно оттого, что у вас окошки-то с которых пор не мыты? Грязи-то, грязи на них! Зги божией не видно, да и одна штора почти совсем опущена.

— Да, вот подите-ка, заикнитесь об этом Захару, так он сейчас баб предложит да из дому погонит на целый день!

Обломов задумался, а Алексеев барабанил пальцами по столу, у которого сидел, рассеянно пробегая глазами по стенам и по потолку.

— Так как же нам? Что делать? Будете одеваться или останетесь так? — спросил он чрез несколько минут.

— А что?

— Да в Екатерингоф?..

— Дался вам этот Екатерингоф, право! — с досадой отозвался Обломов. — Не сидится вам здесь? Холодно, что ли, в комнате или пахнет нехорошо, что вы так и смотрите вон?

— Нет, мне у вас всегда хорошо; я доволен, — сказал Алексеев.

— А коли хорошо тут, так зачем и хотеть в другое место? Оставайтесь-ка лучше у меня на целый день, пообедайте, а там вечером — бог с вами!.. Да, я и забыл: куда мне ехать! Тарантьев обедать придет: сегодня суббота.

— Уж если оно так... я хорошо... как вы... — говорил Алексеев.

— А о делах своих я вам не говорил? — живо спросил Обломов.

— О каких делах? Не знаю, — сказал Алексеев, глядя на него во все глаза.

— Отчего я не встаю-то так долго? Ведь я вот тут лежал все да думал, как мне выпутаться из беды.

— Что такое? — спросил Алексеев, стараясь сделать испуганное лицо.

— Два несчастья! Не знаю, как и быть.

— Какие же?

— С квартиры гонят; вообразите — надо съезжать: ломки, возни... подумать страшно! Ведь восемь лет жил на квартире. Сыграл со мной штуку хозяин: «Съезжайте, — говорит, — поскорее».

— Еще поскорее! Торопит, стало быть, нужно. Это очень несносно — переезжать; с переездой всегда хлопот много, — сказал Алексеев, — растеряют, перебыют — очень скучно! А у вас такая славная квартира... вы что платите?

— Где съешь другую такую, — говорил Обломов, — и еще второпях? Квартира сухая, теплая; в доме смирно: обокрали всего один раз! Вон потолок, кажется, и непрочен: штукатурка совсем отстала — а все не валится.

— Скажите пожалуйста! — говорил Алексеев, качая головой.

— Как бы это устроить, чтоб... не съезжать? — в раздумье, про себя рассуждал Обломов.

— Да у вас по контракту нанята квартира? — спросил Алексеев, оглядывая комнату с потолка до полу.

— Да, только срок контракту вышел; я все это время платил помесечно... не помню только, с которых пор.

— Как же вы полагаете? — спросил, после некоторого молчания, Алексеев. — Съехать или оставаться?

— Никак не полагаю, — сказал Обломов, — мне и думать-то об этом не хочется. Пусть Захар что-нибудь придумает.

— А вот некоторые так любят переезжать, — сказал



Алексеев, — в том только и удовольствие находят, как бы квартиру переменить...

— Ну, пусть эти «некоторые» и переезжают. А я терпеть не могу никаких перемен! Это еще что, квартира! — заговорил Обломов. — А вот посмотрите-ка, что староста пишет ко мне. Я вам сейчас покажу письмо... где бишь оно? Захар, Захар!

— Ах ты, владычица небесная! — захрипел у себя Захар, прыгая с печки. — Когда это бог приберет меня?

Он вошел и мутно поглядел на барина.

— Что ж ты письмо не сыскал?

— А где я его сыщу? Разве я знаю, какое письмо вам нужно? Я не умею читать.

— Все равно поищи, — сказал Обломов.

— Вы сами какое-то письмо вчера вечером читали, — говорил Захар, — а после я не видал.

— Где же оно? — с досадой возразил Илья Ильич. — Я его не проглотил. Я очень хорошо помню, что ты взял у меня и куда-то вон тут положил. А то вот где оно, смотри!

Он тряхнул одеялом: из складок его выпало на пол письмо.

— Вот вы этак все на меня!..

— Ну, ну, поди, поди! — в одно и то же время закричали друг на друга Обломов и Захар. Захар ушел, а Обломов начал читать письмо, писанное точно квасом, на серой бумаге, с печатью из бурого сургуча. Огромные бледные буквы тянулись в торжественной процессии, не касаясь друг друга, по отвесной линии, от верхнего угла к нижнему. Шествие иногда нарушалось бледно-чернильным большим пятном.

— «Милостивый государь, — начал Обломов, — ваше благородие, отец наш и кормилец, Илья Ильич...»

Тут Обломов пропустил несколько приветствий и пожеланий здоровья и продолжал с середины:

— «Доношу твоей барской милости, что у тебя в вотчине, кормилец наш, все благополучно. Пятую неделю нет дождей: знать, прогневали господа бога, что нет

дождей. Этакой засухи старики не запомнят: яровое так и палит, словно полымем. Осимь ино место червь сгубил, ино место ранние морозы сгубили; перепахали было на яровое, да не знамо, уродится ли что? Авось милосердый господь помилует твою барскую милость, а о себе не заботимся: пусть издохнем. А под Иванов день еще три мужика ушли: Лаптев, Балочев, да особо ушел Васька, кузнецов сын. Я баб погнал по мужей: бабы те не воротились, а проживают, слышно, в Челках, а в Челки поехал кум мой из Верхлева: управляющий послал его туда: соху, слышь, заморскую привезли, а управляющий послал кума в Челки оную соху посмотреть. Я наказывал куму о беглых мужиках; исправнику кланялся, сказал он: «Поддай бумагу, и тогда всякое средствие будет исполнено, водворить крестьян ко дворам на место жительства», и опричь того, ничего не сказал, а я пал в ноги ему и слезно умолял; а он закричал благим матом: «Пошел, пошел! Тебе сказано, что будет исполнено, — подай бумагу!» А бумаги я не подавал. А нанять здесь некого: все на Волгу, на работу на барки ушли — такой нынче глупый народ стал здесь, кормилец наш, батюшка Илья Ильич! Холста нашего сей год на ярмарке не будет: сушильню и белильню я запер на замок и Сычуга приставил денно и ночью смотреть: он тверезый мужик; да чтобы не стянул чего господского, я смотрю за ним денно и ночью. Другие больно пьют и просят на оброк. В недоимках недобор: нынешний год пошлем доходцу, будет, батюшка ты наш, благодетель, тысящи яко две помене против того года, что прошел, только бы засуха не разорила вконец, а то вышлем, о чем твоей милости и предлагаем».

Затем следовали изъявления преданности и подпись: «Староста твой, всенижайший раб Прокофий Вытягушкин собственной рукой руку приложил». За неумением грамоты поставлен был крест. «А писал со слов одного старосты шурин его, Демка Кривой».

Обломов взглянул на конец письма.

— Месяца и года нет, — сказал он, — должно быть, письмо валялось у старосты с прошлого года; тут и Иванов день, и засуха! Когда опомнился!

Он задумался.

— А? — продолжал он. — Каково вам покажется: предлагает «тысящи яко две помене»! Сколько же это останется? Сколько бишь я прошлый год получил? — спросил он, глядя на Алексеева. — Я не говорил вам тогда?

Алексеев обратил глаза к потолку и задумался.

— Надо Штольца спросить, как приедет, — продолжал Обломов, — кажется, тысяч семь, восемь... худо не записывать! Так он теперь сажает меня на шесть! Ведь я с голоду умру! Чем тут жить?

— Что ж так тревожиться, Илья Ильич? — сказал Алексеев. — Никогда не надо предаваться отчаянию: перемелется — мука будет.

— Да вы слышите, что он пишет? Чем бы денег прислать, утешить как-нибудь, а он, как на смех, только неприятности делает мне! И ведь всякий год! Вот я теперь сам не свой! «Тысящи яко две помене»!

— Да, большой убыток, — сказал Алексеев, — две тысячи — не шутка! Вот Алексей Логиныч, говорят, тоже получит нынешний год только двенадцать тысяч вместо семнадцати.

— Так двенадцать, а не шесть, — перебил Обломов. — Совсем расстроил меня староста! Если оно и в самом деле так: неурожай да засуха, так зачем огорчать заранее?

— Да... оно в самом деле... — начал Алексеев, — не следовало бы; но какой же деликатности ждать от мужика? Этот народ ничего не понимает.

— Ну, что бы вы сделали на моем месте? — спросил Обломов, глядя вопросительно на Алексеева, с сладкой надеждой, авось не выдумает ли, чем бы успокоить.

— Надо подумать, Илья Ильич, нельзя вдруг решить, — сказал Алексеев.

— К губернатору, что ли, написать! — в раздумье говорил Илья Ильич.

— А кто у вас губернатор? — спросил Алексеев.

Илья Ильич не отвечал и задумался. Алексеев замолчал и тоже о чем-то размышлял.

Обломов, комкая письмо в руках, подпер голову руками, а локти упер в колени и так сидел несколько времени, мучимый приливом беспокойных мыслей.

— Хоть бы Штольц скорей приехал! — сказал он. — Пишет, что скоро будет, а сам черт знает где шатается! Он бы уладил.

Он опять пригорюнился. Долго молчали оба. Наконец Обломов очнулся первый.

— Вот тут что надо делать! — сказал он решительно и чуть было не встал с постели. — И делать как можно скорее, мешкать нечего... Во-первых...

В это время раздался отчаянный звонок в передней, так что Обломов с Алексеевым вздрогнули, а Захар мгновенно спрыгнул с лежанки.

### III

— Дома? — громко и грубо кто-то спросил в передней.

— Куда об эту пору идти? — еще грубее отвечал Захар.

Вошел человек лет сорока, принадлежащий к крупной породе, высокий, объемистый в плечах и во всем туловище, с крупными чертами лица, с большой головой, с крепкой, коротенькой шеей, с большими навыкате глазами, толстогубый. Беглый взгляд на этого человека рождал идею о чем-то грубом и неопрятном. Видно было, что он не гонялся за изяществом костюма. Не всегда его удавалось видеть чисто обритым. Но ему, по-видимому, это было все равно; он не смущался от своего костюма и носил его с каким-то циническим достоинством.

Это был Михай Андреевич Тарантьев, земляк Обломова.

Тарантьев смотрел на все угрюмо, с полупрезрением, с явным недоброжелательством ко всему окружающему, готовый бранить все и всех на свете, как будто какой-нибудь обиженный несправедливостью или не признанный в каком-то достоинстве, наконец, как гонимый судьбою сильный характер, который недобровольно, неумышленно покоряется ей.

Движения его были смелы и размашисты; говорил он громко, бойко и почти всегда сердито; если слушать в некотором отдалении, точно будто три пустые телеги едут по мосту. Никогда не стеснялся он ничьим присутствием и в карман за словом не ходил и вообще постоянно был груб в обращении со всеми, не исключая и приятелей, как будто давал чувствовать, что, заговаривая с человеком, даже обедая или ужиная у него, он делает ему большую честь.

Тарантьев был человек ума бойкого и хитрого; никто лучше его не рассудит какого-нибудь общего житейского вопроса или юридического запутанного дела: он сейчас построит теорию действий в том или другом случае и очень тонко подведет доказательства, а в заключение еще почти всегда наругает тому, кто с ним о чем-нибудь посоветуется.

Между тем сам как двадцать пять лет назад определился в какую-то канцелярию писцом, так в этой должности и дожил до седых волос. Ни ему самому и никому другому и в голову не приходило, чтоб он пошел выше.

Дело в том, что Тарантьев мастер был только говорить; на словах он решал все ясно и легко, особенно что касалось других; но как только нужно было двинуть пальцем, тронуться с места — словом, применить им же созданную теорию к делу и дать ему практический ход, оказать распорядительность, быстроту, — он был совсем другой человек: тут его не хватало — ему вдруг и тяжело делалось, и нездоровилось, то неловко, то дру-

гое дело случится, за которое он тоже не примется, а если и примется, так не дай бог что выйдет. Точно ребенок: там недоглядит, тут не знает каких-нибудь пустяков, там опоздает и кончит тем, что бросит дело на половине или примется за него с конца и так все изгадит, что и поправить никак нельзя, да еще он же потом и браниться станет.

Отец его, провинциальный подьячий старого времени, назначал было сыну в наследство искусство и опытность хождения по чужим делам и свое ловко пройденное поприще служения в присутственном месте; но судьба распорядилась иначе. Отец, учившийся сам когда-то по-русски на медные деньги, не хотел, чтоб сын его отставал от времени, и пожелал поучить чему-нибудь, кроме мудреной науки хождения по делам. Он года три посылал его к священнику учиться латыни.

Способный от природы мальчик в три года прошел латынскую грамматику и синтаксис и начал было разбирать Корнелия Непота, но отец решил, что довольно и того, что он знал, что уж и эти познания дают ему огромное преимущество над старым поколением и что, наконец, дальнейшие занятия могут, пожалуй, повредить службе в присутственных местах.

Шестнадцатилетний Михай, не зная, что делать с своей латынью, стал в доме родителей забывать ее, но зато, в ожидании чести присутствовать в земском или уездном суде, присутствовал пока на всех пирушках отца, и в этой-то школе, среди откровенных бесед, до тонкости развился ум молодого человека.

Он с юношескою впечатлительностью вслушивался в рассказы отца и товарищей его о разных гражданских и уголовных делах, о любопытных случаях, которые проходили через руки всех этих подьячих старого времени.

Но все это ни к чему не повело. Из Михея не выработался делец и крючкотворец, хотя все старания отца и клонились к этому и, конечно, увенчались бы успе-

хом, если б судьба не разрушила замыслов старика. Михай действительно усвоил себе всю теорию отцовских бесед, оставалось только применить ее к делу, но за смертью отца он не успел поступить в суд и был увезен в Петербург каким-то благодетелем, который нашел ему место писца в одном департаменте, да потом и забыл о нем.

Так Тарантьев и остался только теоретиком на всю жизнь. В петербургской службе ему нечего было делать с своею латынью и с тонкой теорией вершить по своему произволу правые и неправые дела; а между тем он носил и сознавал в себе дремлющую силу, запертую в нем враждебными обстоятельствами навсегда, без надежды на проявление, как бывали запираемы, по сказкам, в тесных заколдованных стенах духи зла, лишённые силы вредить. Может быть, от этого сознания бесполезной силы в себе Тарантьев был груб в обращении, недоброжелателен, постоянно сердит и бранчив.

Он с горечью и презрением смотрел на свои настоящие занятия: на переписывание бумаг, на подшивание дел и т. п. Ему вдали улыбалась только одна последняя надежда: перейти служить по винным откупам. На этой дороге он видел единственную выгодную замену поприща, завещанного ему отцом и не достигнутого. А в ожидании этого готовая и созданная ему отцом теория деятельности и жизни, теория взяток и лукавства, миновав главное и достойное ее поприще в провинции, применилась ко всем мелочам его ничтожного существования в Петербурге, вкралась во все его приятельские отношения за недостатком официальных.

Он был взяточник в душе, по теории, ухитрялся брать взятки, за неимением дел и просителей, с сослуживцев, с приятелей, бог знает как и за что — заставляя, где и кого только мог, то хитростью, то назойливостью, угощать себя, требовал от всех незаслуженного уважения, был придирчив. Его никогда не смущал стыд за поношенное платье, но он не чужд был тревоги, ес-

ли в перспективе дня не было у него громадного обеда, с приличным количеством вина и водки.

От этого он в кругу своих знакомых играл роль большой сторожевой собаки, которая лает на всех, не дает никому пошевелиться, но которая в то же время непременно схватит на лету кусок мяса, откуда и куда бы он ни летел.

Таковы были два самые усердные посетителя Обломова.

Зачем эти два русские пролетария ходили к нему? Они очень хорошо знали зачем: пить, есть, курить хорошие сигары. Они находили теплый, покойный уют и всегда одинаково если не радушный, то равнодушный прием.

Но зачем пускал их к себе Обломов — в этом он едва ли отдавал себе отчет. А кажется, затем, зачем еще о сю пору в наших отдаленных Обломовках, в каждом зажиточном доме толпится рой подобных лиц обоего пола, без хлеба, без ремесла, без рук для производительности и только с желудком для потребления, но почти всегда с чином и званием.

Есть еще сибариты, которым необходимы такие дополнения в жизни: им скучно без лишнего на свете. Кто подаст куда-то запропастившуюся табакерку или поднимет упавший на пол платок? Кому можно пожаловаться на головную боль с правом на участие, рассказать дурной сон и потребовать истолкования? Кто почитает книжку на сон грядущий и поможет заснуть? А иногда такой пролетарий посылается в ближайший город за покупкой, поможет по хозяйству — не самим же мыкаться!

Тарантьев делал много шума, выводил Обломова из неподвижности и скуки. Он кричал, спорил и составлял род какого-то спектакля, избавляя ленивого барина самого от необходимости говорить и делать. В комнате, где царствовал сон и покой, Тарантьев приносил жизнь, движения, а иногда и вести извне. Обломов мог



слушать, смотреть, не шевеля пальцем, на что-то бойкое, движущееся и говорящее перед ним. Кроме того, он еще имел простодушие верить, что Тарантьев в самом деле способен посоветовать ему что-нибудь путное.

Посещения Алексеева Обломов терпел по другой, не менее важной причине. Если он хотел жить по-своему, то есть лежать молча, дремать или ходить по комнате, Алексеева как будто не было тут: он тоже молчал, дремал или смотрел в книгу, разглядывал с ленивой зевотой до слез картинку и вещицы. Он мог так пробыть хоть трои сутки. Если же Обломову наскучивало быть одному и он чувствовал потребность выразиться, говорить, читать, рассуждать, проявить волнение — тут был всегда покорный и готовый слушатель и участник, разделявший одинаково согласно и его молчание, и его разговор, и волнение, и образ мыслей, каков бы он ни был.

Другие гости заходили нечасто, на минуту, как первые три гостя; с ними со всеми все более и более порывались живые связи. Обломов иногда интересовался какой-нибудь новостью, пятиминутным разговором, потом, удовлетворенный этим, молчал. Им надо было платить взаимностью, принимать участие в том, что их интересовало. Они купались в людской толпе; всякий понимал жизнь по-своему, как не хотел понимать ее Обломов, а они путали в нее и его: все это не нравилось ему, отталкивало его, было ему не по душе.

Был ему по сердцу один человек: тот тоже не давал ему покоя; он любил и новости, и свет, и науку, и всю жизнь, но как-то глубже, искреннее — и Обломов хотя был ласков со всеми, но любил искренно его одного, верил ему одному, может быть, потому, что рос, учился и жил с ним вместе. Это Андрей Иванович Штольц.

Он был в отлучке, но Обломов ждал его с часу на час.

IV

— Здравствуй, земляк, — отрывисто сказал Тарантьев, протягивая мохнатую руку к Обломову. — Что ты это лежишь по сю пору, как колода?

— Не подходи, не подходи: ты с холода! — говорил Обломов, прикрываясь одеялом.

— Вот еще что выдумал, с холода! — заголосил Тарантьев. — Ну, ну, бери руку, коли дают! Скоро двенадцать часов, а он валяется!

Он хотел приподнять Обломова с постели, но тот предупредил его, опустив быстро ноги и сразу попав ими в обе туфли.

— Я сам сейчас хотел вставать, — сказал он, зевая.

— Знаю я, как ты встаешь: ты бы тут до обеда провалялся. Эй, Захар! Где ты там, старый дурак? Давай скорей одеваться барину.

— А вы заведите-ка прежде своего Захара, да и лайтеся тогда! — заговорил Захар, войдя в комнату и злобно поглядывая на Тарантьева. — Вон натоптали как, словно разносчик! — прибавил он.

— Ну, еще разговаривает, образина! — говорил Тарантьев и поднял ногу, чтобы сзади ударить проходившего мимо Захара; но Захар остановился, обернулся к нему и ошетинился.

— Только вот троньте! — яростно захрипел он. — Что это такое? Я уйду... — сказал он, идучи назад к дверям.

— Да полно тебе, Михай Андрейч, какой ты неугомонный! Ну, что ты его трогаешь? — сказал Обломов. — Давай, Захар, что нужно!

Захар воротился и, косясь на Тарантьева, проворно шмыгнул мимо его.

Обломов, облокотясь на него, нехотя, как очень утомленный человек, привстал с постели и, нехотя же перейдя на большое кресло, опустил в него и остался неподвижен, как сел.

Захар взял со столика помаду, гребенку и щетки,

напомадил ему голову, сделал пробор и потом причесал его щеткой.

— Умываться теперь, что ли, будете? — спросил он.

— Немного погожу еще, — отвечал Обломов, — а ты поди себе.

— Ах, да и вы тут? — вдруг сказал Тарантьев, обращаясь к Алексею в то время, как Захар причесывал Обломова. — Я вас и не видал. Зачем вы здесь? Что это ваш родственник какая свинья! Я вам все хотел сказать...

— Какой родственник? У меня никакого родственника нет, — робко отвечал оторопевший Алексеев, выпуча глаза на Тарантьева.

— Ну, вот этот, что еще служит тут, как его?.. Афанасьев зовут. Как же не родственник? — родственник.

— Да я не Афанасьев, а Алексеев, — сказал Алексеев, — у меня нет родственника.

— Вот еще не родственник! Такой же, как вы, невзрачный, и зовут тоже Васильем Николаичем.

— Ей-богу, не родня; меня зовут Иваном Алексеичем.

— Ну, все равно, похож на вас. Только он свинья; вы ему скажите это, как увидите.

— Я его не знаю, не видал никогда, — говорил Алексеев, открывая табакерку.

— Дайте-ка табаку! — сказал Тарантьев. — Да у вас простой, не французский? Так и есть, — сказал он, понюхав, — отчего не французский? — строго прибавил потом. — Да, еще этакой свиньи я не видывал, как ваш родственник, — продолжал Тарантьев. — Взял я когда-то у него, уж года два будет, пятьдесят рублей взаймы. Ну, велики ли деньги пятьдесят рублей? Как, кажется, не забыть? Нет, помнит: через месяц, где ни встретит: «А что ж должок?» — говорит. Надоел! Мало того, вчера к нам в департамент пришел: «Верно, вы, говорит, жалованье получили, теперь можете отдать». Дал я ему жалованье: пошел при всех срамить, так он насилу двери нашел. «Бедный человек, самому надо!» Как будто

мне не надо! Я что за богач, чтоб ему по пятидесяти рублей отваливать! Дай-ка, земляк, сигару.

— Сигары вон там, в коробочке, — отвечал Обломов, указывая на этажерку.

Он задумчиво сидел в креслах, в своей лениво-красивой позе, не замечая, что вокруг него делалось, не слушая, что говорилось. Он с любовью рассматривал и гладил свои маленькие, белые руки.

— Э! Да это все те же? — строго спросил Тарантьев, вынув сигару и поглядывая на Обломова.

— Да, те же, — отвечал Обломов машинально.

— А я говорил тебе, чтоб ты купил других, зарубежных? Вот как ты помнишь, что тебе говорят! Смотри же, чтоб к следующей субботе непременно было, а то долго не приду. Вишь, ведь какая дрянь! — продолжал он, закурив сигару и пустив одно облако дыма на воздух, а другое втянув в себя. — Курить нельзя.

— Ты рано сегодня пришел, Михей Андреич, — сказал Обломов, зевая.

— Что ж, я надоед тебе, что ли?

— Нет, я так только заметил; ты обыкновенно к обеду прямо приходишь, а теперь только еще первый час.

— Я нарочно заранее пришел, чтоб узнать, какой обед будет! Ты все дрянью кормишь меня, так я вот узнаю, что-то ты велел готовить сегодня.

— Узнай там, на кухне, — сказал Обломов.

Тарантьев вышел.

— Помилуй! — сказал он, воротясь. — Говядина и телятина! Эх, брат Обломов, не умешь ты жить, а еще помещик! Какой ты барин? Помещански живешь; не умешь угостить приятеля! Ну, мадера-то куплена?

— Не знаю, спроси у Захара, — почти не слушая его, сказал Обломов, — там, верно, есть вино.

— Это прежняя-то, от немца? Нет, изволь в английском магазине купить.

— Ну, и этой довольно, — сказал Обломов, — а то еще посылать!

— Да постой, дай деньги, я мимо пойду и принесу; мне еще надо кое-куда сходить.

Обломов порылся в ящике и вынул тогдашнюю красненькую десятирублевую бумажку.

— Мадера семь рублей стоит, — сказал Обломов, — а тут десять.

— Так дай все: там дадут сдачи, не бойся!

Он выхватил из рук Обломова ассигнацию и проворно спрятал в карман.

— Ну, я пойду, — сказал Тарантьев, надевая шляпу, — а к пяти часам буду; мне надо кое-куда зайти: обещали место в питейной конторе, так велели понавещаться... Да вот что, Илья Ильич: не наймешь ли ты коляску сегодня, в Екатерингоф ехать? И меня бы взял.

Обломов покачал головой в знак отрицания.

— Что, лень или денег жаль? Эх ты, мешок! — сказал он. — Ну, прощай пока...

— Постой, Михай Андреич, — прервал Обломов, — мне надо кое о чем посоветоваться с тобой.

— Что еще там? Говори скорей: мне некогда.

— Да вот на меня два несчастья вдруг обрушились. С квартиры гонят...

— Видно, не платишь: и поделом! — сказал Тарантьев и хотел идти.

— Поди ты! Я всегда вперед отдаю. Нет, тут хотят другую квартиру отделявать... Да постой! Куда ты? Научи, что делать: торопят, через неделю чтоб съехали...

— Что я за советник тебе достался?.. Напрасно ты воображаешь...

— Я совсем ничего не воображаю, — сказал Обломов, — не шуми и не кричи, а лучше подумай, что делать. Ты человек практический...

Тарантьев уже не слушал его и о чем-то размышлял.

— Ну, так и быть, благодари меня, — сказал он, снимая шляпу и садясь, — и вели к обеду подать шампанского: дело твое сделано.

— Что такое? — спросил Обломов.

— Шампанское будет?

— Пожалуй, если совет стоит...

— Нет, сам-то ты не стоишь совета. Что я тебе даром-то стану советовать? Вон спроси его, — прибавил он, указывая на Алексеева, — или у родственника его.

— Ну, ну, полно, говори! — просил Обломов.

— Вот что: завтра же изволь переезжать на квартиру...

— Э! Что придумал! Это я и сам знал...

— Постой, не перебивай! — закричал Тарантьев. — Завтра переезжай на квартиру к моей куме, на Выборгскую сторону...

— Это что за новости? На Выборгскую сторону! Да туда, говорят, зимой волки забегают.

— Случается, забегают с островов, да тебе что до этого за дело?

— Там скука, пустота, никого нет.

— Врешь! Там кума моя живет: у ней свой дом, с большими огородами. Она женщина благородная, вдова, с двумя детьми; с ней живет холостой брат: голова, не то, что вот эта, что тут в углу сидит, — сказал он, указывая на Алексеева, — нас с тобой за пояс заткнет!

— Да что ж мне до всего до этого за дело? — сказал с нетерпением Обломов. — Я туда не перееду.

— А вот я посмотрю, как ты не переедешь. Нет, уж коли спросил совета, так слушайся, что говорят.

— Я не перееду, — решительно сказал Обломов.

— Ну, так черт с тобой! — отвечал Тарантьев, нахлобучив шляпу, и пошел к дверям. — Чудак ты этакой! — воротясь, сказал Тарантьев. — Что тебе здесь сладко кажется?

— Как что? От всего близко, — говорил Обломов, — тут и магазины, и театр, и знакомые... центр города, всё...

— Что-о? — перебил Тарантьев. — А давно ли ты ходил со двора, скажи-ка? Давно ли ты был в театре? К каким знакомым ходишь? На кой черт тебе этот центр, позволь спросить!

— Ну как зачем? Мало ли зачем!

— Видишь, и сам не знаешь! А там, подумай: ты будешь жить у кумы моей, благородной женщины, в покое, тихо; никто тебя не тронет; ни шуму, ни гаму, чисто, опрятно. Посмотри-ка, ведь ты живешь точно на постоялом дворе, а еще барин, помещик! А там чистота, тишина; есть с кем и слово перемолвить, как соскучишься. Кроме меня, к тебе и ходить никто не будет. Двое ребятишек — играй с ними, сколько хочешь! Чего тебе? А выгода-то, выгода какая. Ты что здесь платишь?

— Полторы тысячи.

— А там тысячу рублей почти за целый дом! Да какие светленькие, славные комнаты! Она давно хотела тихого, аккуратного жильца иметь — вот я тебя и назначаю...

Обломов рассеянно покачал головой в знак отрицания.

— Врешь, переедешь! — сказал Тарантьев. — Ты рассуди, что тебе ведь это вдвое меньше станет: на одной квартире пятьсот рублей выгадаешь. Стол у тебя будет вдвое лучше и чище; ни кухарка, ни Захар воровать не будут...

В передней послышалось ворчанье.

— И порядка больше, — продолжал Тарантьев, — ведь теперь скверно у тебя за стол сесть! Хватишься перцу — нет, уксусу не куплено, ножи не чищены; белье, ты говоришь, пропадает, пыль везде — ну, мерзость! А там женщина будет хозяйничать: ни тебе, ни твоему дураку, Захару...

Ворчанье в передней раздалось сильнее.

— Этому старому псу, — продолжал Тарантьев, — ни о чем и подумать не придется: на всем готовом будешь жить. Что тут размышлять? Переезжай, да и конец...

— Да как же это я вдруг, ни с того ни с сего, на Выборгскую сторону...

— Поди с ним! — говорил Тарантьев, отирая пот с лица. — Теперь лето: ведь это все равно что дача. Что

ты гниешь здесь летом-то, в Гороховой?.. Там Безбородкин сад, Охта под боком, Нева в двух шагах, свой огород — ни пыли, ни духоты! Нечего и думать: я сейчас же до обеда слетаю к ней — ты дай мне на извозчика, — и завтра же переезжать...

— Что это за человек! — сказал Обломов. — Вдруг выдумает черт знает что: на Выборгскую сторону... Это не мудрено выдумать. Нет, вот ты ухитришься выдумать, чтоб остаться здесь. Я восемь лет живу, так менять-то не хочется...

— Это кончено: ты переедешь. Я сейчас еду к куме, про место в другой раз наведуясь...

Он было пошел.

— Постой, постой! Куда ты? — остановил его Обломов. — У меня еще есть дело, поважнее. Посмотри, какое я письмо от старосты получил, да реши, что мне делать.

— Видишь, ведь ты какой уродился! — возразил Тарантьев. — Ничего не умеешь сам сделать. Все я да я! Ну, куда ты годишься? Не человек: просто солома!

— Где письмо-то? Захар, Захар! Опять он куда-то дел его! — говорил Обломов.

— Вот письмо старосты, — сказал Алексеев, взяв скомканное письмо.

— Да, вот оно, — повторил Обломов и начал читать вслух. — Что ты скажешь? Как мне быть? — спросил, прочитав, Илья Ильич. — Засухи, недоимки...

— Пропаций, совсем пропаций человек! — говорил Тарантьев.

— Да отчего ж пропаций?

— Как же не пропаций?

— Ну, если пропаций, так скажи, что делать?

— А что за это?

— Ведь сказано, будет шампанское: чего же еще тебе?

— Шампанское за отыскание квартиры: ведь я тебя облагодетельствовал, а ты не чувствуешь этого, спиришь еще; ты неблагоприятен! Поди-ка сыщи сам кварти-



ру! Да что квартира? Главное, спокойствие-то какое тебе будет: все равно как у родной сестры. Двое ребятишек, холостой брат, я всякий день буду заходить...

— Ну, хорошо, хорошо, — перебил Обломов, — ты вот теперь скажи, что мне с старостой делать?

— Нет, прибавь портер к обеду, так скажу.

— Вот теперь портер! Мало тебе...

— Ну, так прощай, — сказал Тарантьев, опять надевая шляпу.

— Ах ты, боже мой! Тут староста пишет, что дохода «тысящи две яко помене», а он еще портер набавил! Ну хорошо, купи портеру.

— Дай еще денег! — сказал Тарантьев.

— Ведь у тебя останется сдача от красненькой.

— А на извозчика на Выборгскую сторону? — отвечал Тарантьев.

Обломов вынул еще целковый и с досадой сунул ему.

— Староста твой мошенник — вот что я тебе скажу, — начал Тарантьев, пряча целковый в карман, — а ты веришь ему, разиня рот. Видишь, какую песню поет! Засухи, неурожай, недоимки, да мужики ушли. Врет, все врет! Я слышал, что в наших местах, в Шумиловой вотчине, прошлогодним урожаем все долги уплатили, а у тебя вдруг засуха да неурожай. Шумиловское-то в пятидесяти верстах от тебя только: отчего ж там не сожгло хлеба? Выдумал еще недоимки! А он чего смотрел? Зачем запускал? Откуда это недоимки? Работы, что ли, или сбыта в нашей стороне нет? Ах он, разбойник! Да я бы его выучил! А мужики разошлись оттого, что сам же он, чай, содрал с них что-нибудь, да и распустил, а исправнику и не думал жаловаться.

— Не может быть, — говорил Обломов, — он даже и ответ исправника передает в письме — так натурально...

— Эх, ты! Не знаешь ничего. Да все мошенники натурально пишут — уж это ты мне поверь! Вот, напри-

мер, — продолжал он, указывая на Алексеева, — сидит честная душа, овца овцой, а напишет ли он натурально? — Никогда. А родственник его, даром что свинья и bestия, тот напишет. И ты не напишешь натурально! Стало быть, староста твой уж потому bestия, что ловко и натурально написал. Видишь ведь, как прибрал, слово к слову: «Водворить на место жительства».

— Что ж делать-то с ним? — спросил Обломов.

— Смени его сейчас же.

— А кого я назначу? Почем я знаю мужиков? Другой, может быть, хуже будет. Я двенадцать лет не был там.

— Ступай в деревню сам: без этого нельзя; пробудь там лето, а осенью прямо на новую квартиру и приезжай. Я уж похлопочу тут, чтоб она была готова.

— На новую квартиру, в деревню, самому! Какие ты все отчаянные меры предлагаешь! — с неудовольствием сказал Обломов. — Нет чтоб избежать крайностей и придерживаться середины...

— Ну, брат Илья Ильич, совсем пропадешь ты. Да я бы на твоём месте давным-давно заложил имение да купил бы другое или дом здесь, на хорошем месте: это стоит твоей деревни. А там заложил бы и дом да купил бы другой... Дай-ка мне твоё имение, так обо мне услышали бы в народе-то.

— Перестань хвастаться, а выдумай, как бы и с квартиры не съезжать, и в деревню не ехать, и чтоб дело сделалось... — заметил Обломов.

— Да сдвинешься ли ты когда-нибудь с места? — говорил Тарантьев. — Ведь погляди-ка ты на себя: куда ты годишься? Какая от тебя польза отечеству? Не может в деревню съездить!

— Теперь мне ещё рано ехать, — отвечал Илья Ильич, — прежде дай кончить план преобразований, которые я намерен ввести в имении... Да знаешь ли что, Михей Андрейч? — вдруг сказал Обломов. — Съезди-ка

ты. Дело ты знаешь, места тебе тоже известны; а я бы не пожалел издержек.

— Я управитель, что ли, твой? — надменно возразил Тарантьев. — Да и отвык я с мужиками-то обращаться...

— Что делать? — сказал задумчиво Обломов. — Право, не знаю.

— Ну, напиши к исправнику: спроси его, говорил ли ему староста о шатающихся мужиках, — советовал Тарантьев, — да попроси заехать в деревню; потом к губернатору напиши, чтоб предписал исправнику донести о поведении старосты. «Примите, дескать, ваше превосходительство, отеческое участие и взгляните оком милосердия на неминуемое, угрожающее мне ужаснейшее несчастье, происходящее от буйственных поступков старосты, и крайнее разорение, коему я неминуемо должен подвергнуться, с женой и малолетними, остающимися без всякого призрения и куска хлеба, двенадцатью человеками детей...»

Обломов засмеялся.

— Откуда я наберу столько ребятишек, если попросят показать детей? — сказал он.

— Врешь, пиши: с двенадцатью человеками детей; оно проскользнет мимо ушей, справок наводить не станут, зато будет «натурально»... Губернатор письмо передаст секретарю, а ты напишешь в то же время и ему, разумеется, со вложением, — тот и сделает распоряжение. Да попроси соседей: кто у тебя там?

— Добрынин там близко, — сказал Обломов, — я здесь с ним часто виделся; он там теперь.

— И ему напиши, попроси хорошенько: «Сделайте, дескать, мне этим кровное одолжение и обяжете как христианин, как приятель и как сосед». Да приложи к письму какой-нибудь петербургский гостинец... сигар, что ли. Вот ты как поступи, а то ничего не смыслишь. Пропавший человек! У меня наплясался бы староста: я бы ему дал! Когда туда почта?

— Послезавтра, — сказал Обломов.

— Так вот садись да и пиши сейчас.

— Ведь послезавтра, так зачем же сейчас? — заметил Обломов. — Можно и завтра. Да послушай-ка, Михей Андреич, — прибавил он, — уж доверши свои «благоденствия»: я, так и быть, еще прибавлю к обеду рыбу или птицу какую-нибудь.

— Что еще? — спросил Тарантьев.

— Присядь да напиши. Долго ли тебе три письма настрочить? Ты так «натурально» рассказываешь... — прибавил он, стараясь скрыть улыбку, — а вон Иван Алексеич переписал бы...

— Э! Какие выдумки! — отвечал Тарантьев. — Чтоб я писать стал! Я и в должности третий день не пишу: как сяду, так слеза из левого глаза и начнет бить; видно, надуло, да и голова затекает, как нагнусь... Lentяй ты, лентяй! Пропадешь, брат, Илья Ильич, ни за копейку!

— Ах, хоть бы Андрей поскорей приехал! — сказал Обломов. — Он бы все уладил...

— Вот нашел благодетеля! — прервал его Тарантьев. — Немец проклятый, шельма продувная!..

Тарантьев питал какое-то инстинктивное отвращение к иностранцам. В глазах его француз, немец, англичанин были синонимы мошенника, обманщика, хитреца или разбойника. Он даже не делал различия между нациями: они были все одинаковы в его глазах.

— Послушай, Михей Андреич, — строго заговорил Обломов, — я тебя просил быть воздержнее на язык, особенно о близком мне человеке...

— О близком человеке! — с ненавистью возразил Тарантьев. — Что он тебе за родня такая? Немец — известно.

— Ближе всякой родни: я вместе с ним рос, учился и не позволю дерзостей...

Тарантьев побагровел от злости.

— А! Если ты меняешь меня на немца, — сказал он, — так я к тебе больше ни ногой.

Он надел шляпу и пошел к двери. Обломов мгновенно смягчился.

— Тебе бы следовало уважать в нем моего приятеля и осторожнее отзываться о нем — вот все, чего я требую! Кажется, невелика услуга, — сказал он.

— Уважать немца? — с величайшим презрением сказал Тарантьев. — За что это?

— Я уж тебе сказал, хоть бы за то, что он вместе со мной рос и учился.

— Велика важность! Мало ли кто с кем учился!

— Вот если б он был здесь, так он давно бы избавил меня от всяких хлопот, не спросив ни портюру, ни шампанского... — сказал Обломов.

— А! Ты попрекаешь мне! Так черт с тобой и с твоим портюром и шампанским! На, вот, возьми свои деньги... Куда, бишь, я их положил? Вот совсем забыл, куда сунул проклятые!

Он вынул какую-то замасленную, исписанную бумажку.

— Нет, не они!.. — говорил он. — Куда это я их?..

Он шарил по карманам.

— Не трудись, не доставай! — сказал Обломов. — Я тебя не упрекаю, а только прошу отзываться приличнее о человеке, который мне близок и который так много сделал для меня...

— Много! — злобно возразил Тарантьев. — Вот стой, он еще больше сделает — ты слушай его!

— К чему ты это говоришь мне? — спросил Обломов.

— А вот к тому, как уж немец твой облупит тебя, так ты и будешь знать, как менять земляка, русского человека, на бродягу какого-то...

— Послушай, Михай Андрейч... — начал Обломов.

— Нечего слушать-то, я слушал много, натерпелся от тебя горя-то! Бог видит, сколько обид перенес... Чай, в Саксонии-то отец его и хлеба-то не видал, а сюда нос поднимать приехал.

— За что ты мертвых тревожишь? Чем виноват отец?

— Виноваты оба, и отец и сын, — мрачно сказал Тарантьев, махнув рукой. — Недаром мой отец советовал беречься этих немцев, а уж он ли не знал всяких людей на своем веку!

— Да чем же не нравится отец, например? — спросил Илья Ильич.

— А тем, что приехал в нашу губернию в одном сюртуке да в башмаках, в сентябре, а тут вдруг сыну наследство оставил — что это значит?

— Оставил он сыну наследства всего тысяч сорок. Кое-что он взял в приданое за женой, а остальные приобрел тем, что учил детей да управлял имением: хорошее жалованье получал. Видишь, что отец не виноват. Чем же теперь виноват сын?

— Хорош мальчик! Вдруг из отцовских сорока сделал тысяч триста капитала, и в службе за надворного перевалился, и ученый... теперь вон еще путешествует! Пострел везде поспел! Разве настоящий-то хороший русский человек станет все это делать? Русский человек выберет что-нибудь одно, да и то еще не спеша, потихоньку да полегоньку, кое-как, а то на-ко, поди! Добро бы в откупа вступил — ну, понятно, отчего разбогател; а то ничего, так, на фу-фу! Нечисто! Я бы под суд этаких! Вот теперь шатается черт знает где! — продолжал Тарантьев. — Зачем он шатается по чужим землям?

— Учиться хочет, все видеть, знать.

— Учиться! Мало еще учили его? Чему это? Врет он, не верь ему: он тебя в глаза обманывает, как малого ребенка. Разве большие учатся чему-нибудь? Слышите, что рассказывает? Станет надворный советник учиться! Вот ты учился в школе, а разве теперь учишься? А он разве (он указал на Алексеева) учится? А родственник его учится? Кто из добрых людей учится? Что он там, в немецкой школе, что ли, сидит да уроки учит? Врет он! Я слышал, он какую-то машину поехал

смотреть да заказывать: видно, тиски-то для русских денег! Я бы его в острог... Акции какие-то... Ох, эти мне акции, так душу и мутят!

Обломов расхохотался.

— Что зубы-то скалишь? Не правду, что ли, я говорю? — сказал Тарантьев.

— Ну, оставим это! — прервал его Илья Ильич. — Ты иди с богом, куда хотел, а я вот с Иваном Алексеевичем напишу все эти письма да постараюсь поскорей набросать на бумагу план-то свой: уж кстати заодно делать...

Тарантьев ушел было в переднюю, но вдруг воротился опять.

— Забыл совсем! Шел к тебе за делом с утра, — начал он, уж вовсе не грубо. — Завтра звали меня на свадьбу: Рокотов женится. Дай, земляк, своего фрака надеть; мой-то, видишь ты, пообтерся немного...

— Как же можно! — сказал Обломов, хмурясь при этом новом требовании. — Мой фрак тебе не впору...

— Впору; вот не впору! — перебил Тарантьев. — А помнишь, я примеривал твой сюртук: как на меня сшит! Захар, Захар! Поди-ка сюда, старая скотина! — кричал Тарантьев.

Захар зарычал, как медведь, но не шел.

— Позови его, Илья Ильич. Что это он у тебя какой? — жаловался Тарантьев.

— Захар! — крикнул Обломов.

— О, чтоб вас там! — раздалось в передней вместе с прыжком ног с лежанки.

— Ну, чего вам? — спросил он, обращаясь к Тарантьеву.

— Дай сюда мой черный фрак! — приказывал Илья Ильич. — Вот Михей Андреич примерит, не впору ли ему: завтра ему на свадьбу надо...

— Не дам фрака, — решительно сказал Захар.

— Как ты смеешь, когда барин приказывает? — закричал Тарантьев. — Что ты, Илья Ильич, его в смиренный дом не отправишь?

— Да, вот этого еще недоставало: старика в смиренный дом! — сказал Обломов. — Дай, Захар, фрак, не упрямясь!

— Не дам! — холодно отвечал Захар. — Пусть прежде они принесут назад жилет да нашу рубашку: пятый месяц гостит там. Взяли вот этак же на именины, да и поминай как звали; жилет-то бархатный, а рубашка тонкая, голландская: двадцать пять рублей стоит. Не дам фрака!

— Ну, прощайте! Черт с вами пока! — с сердцем заключил Тарантьев, уходя и грозя Захару кулаком. — Смотри же, Илья Ильич, я найму тебе квартиру — слышишь ты? — прибавил он.

— Ну, хорошо, хорошо! — с нетерпением говорил Обломов, чтоб только отвязаться от него.

— А ты напиши тут, что нужно, — продолжал Тарантьев, — да не забудь написать губернатору, что у тебя двенадцать человек детей, «мал мала меньше». А в пять часов чтоб суп был на столе! Да что ты не велел пирога сделать?

Но Обломов молчал; он давно уже не слушал его и, закрыв глаза, думал о чем-то другом.

С уходом Тарантьева в комнате водворилась ненарушимая тишина минут на десять. Обломов был расстроен и письмом старосты, и предстоящим переездом на квартиру, и отчасти утомлен трескотней Тарантьева. Наконец он вздохнул.

— Что ж вы не пишете? — тихо спросил Алексеев. — Я бы вам перышко очинил.

— Очините, да и бог с вами, подите куда-нибудь! — сказал Обломов. — Я уж один займусь, а вы после обеда перепишете.

— Очень хорошо-с, — отвечал Алексеев. — В самом деле, еще помешаю как-нибудь... А я пойду пока скажу, чтоб нас не ждали в Екатерингоф. Прощайте, Илья Ильич.



Но Илья Ильич не слушал его: он, подобрав ноги под себя, почти улегся в кресло и, подгорюнившись, погрузился не то в дремоту, не то в задумчивость.

## V

Обломов, дворянин родом, коллежский секретарь чином, безвыездно живет двенадцатый год в Петербурге.

Сначала, при жизни родителей, жил потеснее, помещался в двух комнатах, довольствовался только вывезенным им из деревни слугой Захаром; но по смерти отца и матери он стал единственным обладателем трехсот пятидесяти душ, доставшихся ему в наследство в одной из отдаленных губерний, чуть не в Азии.

Он вместо пяти получал уже от семи до десяти тысяч рублей ассигнациями дохода; тогда и жизнь его приняла другие, более широкие размеры. Он нанял квартиру побольше, прибавил к своему штату еще повара и завел было пару лошадей.

Тогда еще он был молод, и если нельзя сказать, чтоб он был жив, то, по крайней мере, живее, чем теперь; еще он был полон разных стремлений, все чего-то надеялся, ждал многого и от судьбы, и от самого себя; все готовился к поприщу, к роли — прежде всего, разумеется, в службе, что и было целью его приезда в Петербург. Потом он думал и о роли в обществе; наконец, в отдаленной перспективе, на повороте с юности к зрелым летам, воображению его мелькало и улыбалось семейное счастье.

Но дни шли за днями, годы сменялись годами, пушок обратился в жесткую бороду, лучи глаз сменились двумя тусклыми точками, талия округлилась, волосы стали немилосердно лезть, стукнуло тридцать лет, а он ни на шаг не подвинулся ни на каком поприще и все еще стоял у порога своей арены, там же, где был десять лет назад.

Но он все сбирался и готовился начать жизнь, все рисовал в уме узор своей будущности; но с каждым мелькавшим над головой его годом должен был что-нибудь изменять и отбрасывать в этом узоре.

Жизнь в его глазах разделялась на две половины: одна состояла из труда и скуки — это у него были синонимы; другая — из покоя и мирного веселья. От этого главное поприще — служба на первых порах озадачила его самым неприятным образом.

Воспитанный в недрах провинции, среди кротких и теплых нравов и обычаев родины, переходя в течение двадцати лет из объятий в объятия родных, друзей и знакомых, он до того был проникнут семейным началом, что и будущая служба представлялась ему в виде какого-то семейного занятия, вроде, например, ленивого записыванья в тетрадку прихода и расхода, как делывал его отец.

Он полагал, что чиновники одного места составляли между собою дружную, тесную семью, неусыпно пекущуюся о взаимном спокойствии и удовольствиях, что посещение присутственного места отнюдь не есть обязательная привычка, которой надо придерживаться ежедневно, и что слякоть, жара или просто нерасположение всегда будут служить достаточными и законными предлогами к нехождению в должность.

Но как огорчился он, когда увидел, что надобно быть, по крайней мере, землетрясению, чтоб не прийти здоровому чиновнику на службу, а землетрясений, как на грех, в Петербурге не бывает; наводнение, конечно, могло бы тоже служить преградой, но и то редко бывает.

Еще более призадумался Обломов, когда замелькали у него в глазах пакеты с надписью *нужное* и *весьма нужное*, когда его заставляли делать разные справки, выписки, рыться в делах, писать тетради в два пальца толщиной, которые, точно на смех, называли *записками*; притом всё требовали скоро, все куда-то торопились, ни на чем не останавливались: не успеют спус-

тить с рук одно дело, как уж опять с яростью хватаются за другое, как будто в нем вся сила и есть, и, кончив, забудут его и кидаются на третье — и конца этому никогда нет!

Раза два его поднимали ночью и заставляли писать «записки», несколько раз добывали посредством курьера из гостей — все по поводу этих же записок. Все это навело на него страх и скуку великую. «Когда же жить? Когда жить?» — твердил он.

О начальнике он слышал у себя дома, что это отец подчиненных, и потому составил себе самое смеющееся, самое семейное понятие об этом лице. Он его представлял себе чем-то вроде второго отца, который только и дышит тем, как бы за дело и не за дело, сплошь да рядом, награждать своих подчиненных и заботиться не только о их нуждах, но и об удовольствиях.

Илья Ильич думал, что начальник до того входит в положение своего подчиненного, что заботливо расспросит его: каково он почивал ночью, отчего у него мутные глаза и не болит ли голова?

Но он жестоко разочаровался в первый же день своей службы. С приездом начальника начиналась беготня, суета, все смущались, все сбивали друг друга с ног, иные обдергивались, опасаясь, что они не довольно хороши как есть, чтоб показаться начальнику.

Это происходило, как заметил Обломов впоследствии, оттого, что есть такие начальники, которые в испуганном до одурения лице подчиненного, выскочившего к ним навстречу, видят не только почтение к себе, но даже ревность, а иногда и способности к службе.

Илье Ильичу не нужно было пугаться так своего начальника, доброго и приятного в обхождении человека: он никогда никому дурного не сделал, подчиненные были как нельзя более довольны и не желали лучшего. Никто никогда не слышал от него неприятного слова, ни крика, ни шума; он никогда ничего не требует, а все просит. Дело сделать — просит, в гости к себе — просит и под арест сесть — просит. Он никогда никому не